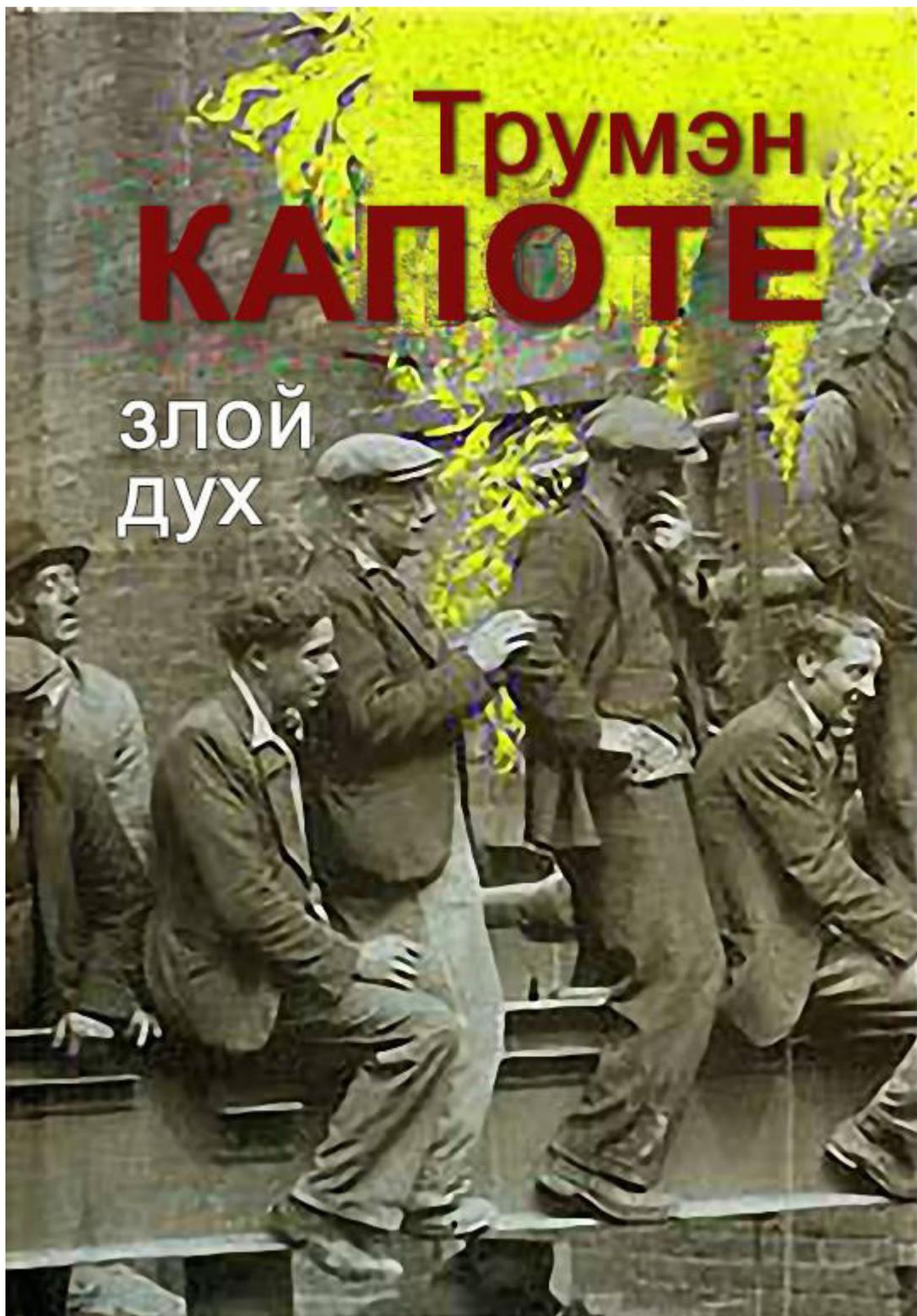


Трумэн Капоте
Злой дух



<http://fantlab.ru/edition52976>
«Злой дух»: Б.С.Г.-Пресс; Москва; 2005
ISBN 5-93381-187-4

Аннотация

Трумен Капоте (1924–1984) — один из классиков американской литературы двадцатого века, автор знаменитой повести «Завтрак у Тиффани». Однако, помимо этого произведения, писатель прославился также своими рассказами. В них Капоте особенно полно и ярко сумел передать атмосферу действия, характерную почти для всех его произведений. Пронзительную или призрачную, почти фантастическую и завораживающую своей кажущейся неправдоподобностью.

Злой дух Трумен Капоте

Содержание:

Бутыль серебра (рассказ, перевод С. Митиной)
Мириэм (рассказ, перевод С. Митиной)
Я тоже могу такого порассказать... (рассказ, перевод С. Митиной)
Дерево ночи (рассказ, перевод Е. Суриц)
Ястреб без головы (рассказ, перевод И. Стам)
Закрой последнюю дверь (рассказ, перевод В. Бабкова)
Дети в день рождения (рассказ, перевод С. Митиной)
Злой дух (рассказ, перевод Р. Облонской)
Бриллиантовая гитара (рассказ, перевод Е. Суриц)
Цветочный дом (рассказ, перевод Г. Дашевского)
Воспоминания об одном рождестве (рассказ, перевод С. Митиной)
Один из путей в рай (рассказ, перевод С. Митиной)
Гость на празднике (рассказ, перевод С. Митиной)

Бутыль серебра

перевод С. Митиной

После занятий в школе я обычно работал в аптеке «Валгалла». Владельцем ее был мой дядя, мистер Эд Маршалл. Я называю его мистером Маршаллом, потому что все, даже собственная жена, звали его «мистер Маршалл». А вообще-то он был человек симпатичный.

Аптека была хоть и несколько старомодная, но зато просторная, темноватая и прохладная, — летом во всем городке не было места приятней. Слева от входа, за табачным прилавком, как правило, возвышался сам мистер Маршалл — приземистый, с длинными закрученными седыми усами на скуластом румянном лице, придававшими ему весьма мужественный вид. В глубине помещения находилась красивая старинная стойка для газировки; ее пожелтевшая мраморная поверхность была отполирована тщательно, но без вульгарного блеска. Мистер Маршалл приобрел ее в тысяча девятьсот десятом году на аукционе в Новом Орлеане и очень ею гордился. Сидя у стойки на одном из высоких шатких табуретов, вы могли видеть в старинных зеркалах свое отражение — тускловатое, словно при свечах. Все главные товары были выставлены в застекленных антикварных шкафчиках, запиравшихся медными ключами. В аптеке всегда стоял запах мускатного ореха, сиропов и прочих вкусных вещей.

Жители нашего округа частенько наведывались в «Валгаллу», покуда в городе не объявился некий Руфус Макферсон — он тоже открыл аптеку, прямо напротив нашей, на другой стороне главной площади. Старый Руфус Макферсон оказался сущим злодеем — он переманил у моего дядюшки почти всех клиентов. Он завел у себя всякие новомодные штучки вроде разноцветных лампочек и электрических вентиляторов; подъезжавших к аптеке клиентов обслуживал прямо в машине; приготовлял сэндвичи на заказ. Понятно

поэтому, что, хотя некоторые из наших завсегдатаев и сохранили верность мистеру Маршаллу, большинство из них не смогло устоять перед соблазнами, которые пустил в ход Руфус Макферсон.

Сперва мистер Маршалл решил его игнорировать: при упоминании его имени он только фыркнул, покручивал усы и глядел в сторону. Но видно было, что он здорово накален и с каждым днем накаляется все сильнее.

Как-то раз, в середине октября, когда я зашел в аптеку, мистер Маршалл сидел у стойки с Хаммураби; они играли в домино и попивали вино. Этот самый Хаммураби, уверявший, что он египтянин, подвизался у нас в качестве зубного врача, но практики у него почти не было, так как у жителей нашего округа зубы на редкость крепкие благодаря свойствам здешней воды; поэтому большую часть времени Хаммураби торчал в аптеке и был лучшим приятелем моего дяди. Он был красавец-мужчина, этот Хаммураби, — смуглый, высокий, футов семи росту, и мамы у нас в городке старались прятать от него своих дочек, хотя сами строили ему глазки. Говорил он без всякого акцента, и мне всегда казалось, что он такой же египтянин, как выходец с Луны.

Словом, они с дядей играли в домино и потягивали красное итальянское вино, подливая себе из четырехлитровой бутылки. Зрелище грустное, потому что мистер Маршалл был известен как ярый противник спиртного, и я, понятное дело, подумал: ох ты, черт, значит, все-таки Руфус Макферсон допек его. Но оказалось, что дело вовсе не в этом.

— Эй, сынок, — обратился ко мне мистер Маршалл, — иди-ка сюда, выпей стаканчик красного.

— Правильно, помоги нам с ним разделаться, — подхватил Хаммураби, — вино покупное, жаль его выливать.

Много позже, уже под вечер, когда бутылка наконец опустела, мистер Маршалл взял ее в руки.

— Что ж, теперь посмотрим! — сказал он и вышел на улицу.

— Куда это он? — спросил я.

— О... о... о... — только и сказал Хаммураби, любивший меня подразнить.

Прошло с полчаса, и мой дядя вернулся, сгибаясь под тяжестью своей ноши и сердито ворча. Он водрузил бутылку на стойку и отступил на шаг, с улыбкой потирая руки.

— Ну, как на ваш взгляд?

— О... о... о... — вновь сказал Хаммураби.

— Ух ты! — сказал я.

Бог ты мой, это была та самая бутылка, но с нею произошло чудесное превращение — теперь она была доверху наполнена серебряными монетками по пять и десять центов, тускло поблескивавшими сквозь толстое стекло.

— Здорово, а? Это мне в Первом национальном банке насыпали. Монета покрупнее не пролезает в горлышко. Ну да все равно, там целая куча денег, доложу я вам.

— А для чего это, мистер Маршалл? — спросил я. — Ну то есть в чем тут идея?

Мистер Маршалл заулыбался еще шире.

— Бутылка с серебром, скажем так...

— Кубышка на конце радуги, — вставил Хаммураби.

— ...а идея, как ты выражаешься, — в том, чтобы люди старались угадать, сколько тут денег. Скажем, купил клиент чего-нибудь на четвертак — и пожалуйста, пусть попытает счастья. Чем больше он будет покупать, тем больше у него шансов на выигрыш. Все цифры, какие мне станут называть, я буду записывать в бухгалтерскую книгу, а в сочельник мы их зачитаем, и чья окажется всего ближе к правильной, тому и достанется вся эта музыка.

Хаммураби кивнул с торжественным видом.

— Санта-Клауса из себя разыгрывает, — сказал он. — Всемогущего, доброго Санта-Клауса. Пойду я домой и напишу книгу: «Искусное убийство Руфуса Макферсона».

Он иногда и вправду строчил рассказы, а потом рассылал их по журналам. Но всякий раз они приходили обратно.

Удивительно, просто уму непостижимо, до чего бутылка с серебром завладела воображением жителей нашего округа. Давно уже дядюшкина аптека не знала такого наплыва покупателей — с тех самых пор, как Тьюли, начальник станции, совершенно спятил, бедняга, и стал уверять, что обнаружил за товарным складом нефть, после чего в наш городок валом повалил народ — рыть поисковые скважины. Даже бездельники, которые целыми днями толклись в бильярдной и сроду ни на что гроша не выложили, если только это не имело отношения к выпивке или к женщинам, и те вдруг стали расходовать свою скудную денежную наличность на молочный коктейль.

Несколько пожилых дам публично осудили затею мистера Маршалла как разновидность азартной игры; впрочем, особого шума они поднимать не стали, а некоторые из них под тем или иным предлогом даже заходили в аптеку попытаться счастья. Школьники прямо-таки помешались на этой бутылке, и я вдруг стал среди них весьма популярен — они воображали, что мне известно, сколько там серебра.

— Я вам скажу, в чем тут дело, — говорил Хаммураби, закуривая египетскую сигарету (он заказывал их по почте в одной нью-йоркской фирме). — Вовсе не в том, в чем вы думаете, — не в жадности, словом. Нет. Тайна — вот что всех завораживает. Глядишь ты на эти монетки, так разве же ты думаешь: ага, тут их столько-то? Нет, нет. Ты спрашиваешь себя: а сколько их тут? Вот в этом вся суть, и для каждого она означает свое. Понятно?

Ну, а Руфус Макферсон, тот просто на стену лез. Ведь всякий торговец возлагает на рождество особые надежды — эти несколько дней приносят ему изрядную долю годовой выручки. А тут вдруг покупателей силком не затащишь. Руфус решил собезьянничать — завел у себя такую же бутылку, но так как он был скрягой, то наполнил ее медными центами. Мало того, он написал редактору «Знамени», нашей еженедельной газеты, письмо, где утверждал, что мистера Маршалла следует «вымазать дегтем, обвалить в перьях и вздернуть за то, что он превращает невинных детей в заядлых игроков, уготовляя им тем самым прямой путь в ад». Сами понимаете, что после этого он сделался всеобщим посмешищем. Заслужил презрение всего города, и больше ничего. В общем, к середине ноября ему не оставалось ничего другого, как стоять на тротуаре у дверей своей аптеки и с горечью взирать на веселую кутерьму в стане противника.

Примерно в это время у нас в аптеке и появился Ноготок со своей сестрой. Был он не из наших, городских, во всяком случае, раньше его никто здесь не видел. Он говорил, что живет на ферме в миле от Индейского Ручья, что мать его весит всего-навсего тридцать кило, а у старшего брата есть скрипка, и, если кому нужно, он может за пятьдесят центов сыграть на свадьбе. А еще он сообщил, что его звать Ноготок, что другого имени у него нету и что ему двенадцать лет. Но Мидди, его сестра, говорила, что ему всего восемь. Волосы у него были прямые темно-русые; маленькое обветренное лицо постоянно напряжено; зеленые глаза глядели понимающе, очень умно, настороженно. Был он низенький, щуплый, сплошной комок нервов, носил всегда одно и то же — красный свитер, синие холщовые штаны и огромные башмаки, хлопавшие при каждом его шаге.

Первый раз он явился к нам в дождь. Волосы его слиплись и покрывали голову сплошной шапкой, башмаки были облеплены рыжей глиной, — видно, он шел проселками. Небрежной ковбойской походкой он направился к мраморной стойке, где я перетирал стаканы; Мидди шла за ним следом.

— Я так прослышал, что вы заимели полную бутылку денег и хотите ее отдать, — сказал он, глядя мне прямо в глаза. — Раз уж вы ее все одно отдадите, так сделали бы доброе дело — отдали бы ее нам. Меня звать Ноготок, а вон она — моя сестра, Мидди.

Мидди была грустная-грустная девочка, явно старше братишки и намного выше его — сушая жердь. Короткие серые, словно пакля, волосы, жалостно бледное лицо с кулачок. Выцветшее ситцевое платье не прикрывало костлявых коленок. У нее были плохие зубы, и, чтобы это скрыть, она сжимала губы в ниточку, как старушка.

— Прошу извинить меня, — сказал я, — но вам следует обратиться к мистеру Маршаллу.

И он безо всяких тут же к нему обратился. Мне слышно было, как дядя объясняет ему, что нужно сделать, чтобы выиграть бутылку с серебром. Нютоок внимательно слушал и время от времени кивал. Потом снова подошел к стойке и осторожно погладил бутылку.

— Славная штучка, а, Мидди?

— А они ее нам отдадут?

— Не... Перво-наперво вот что — нужно угадать, сколько там денег. Да прежде купить чего-нибудь на четвертак, чтоб разрешили отгадывать.

— Ишь ты, четвертак! Нет его у нас. Да где его взять-то, сам подумай.

Нютоок насутился, потер подбородок.

— Ну это что... Это уж я соображу. Заковыка не в том: мне никак нельзя, чтобы вышла промашка. Мне надо знать точно.

Через несколько дней они снова пришли в аптеку. Нютоок забрался на стул у стойки и решительным тоном спросил два стакана газировки — один для себя, другой для Мидди. На этот раз он сообщил нам кое-какие сведения о своих родственниках.

— ...а еще есть у нас дедушка, материн отец, он каджун и по-английски говорит плохо. А братишка мой — тот, что на скрипке играет, — так его три раза сажали. Через это нам и пришлось сматываться из Луизианы, — подрался с одним парнем и здорово его бритвой порезал. Из-за одной бабы, она на десять лет его старше. Белобрысая такая.

Мидди, робко стоявшая поодаль, забеспокоилась:

— Зря ты, Нютоок, про наши семейные дела болтаешь.

— А ну, умолкни, Мидди, — оборвал он ее, и Мидди сразу умолкла. — Хорошая девчушка, — добавил он и, повернувшись, погладил ее по голове. — Только вот приходится ее окорачивать. Иди-ка, голуба, посмотри книжки с картинками, а насчет зубов не переживай. Нютоок для тебя кое-что сообразит, дай только мне повернуть одно дельце.

Состояло же дельце в том, чтобы пялиться на бутылку. Подперев рукой подбородок, он глядел на нее долго-долго, не мигая, так и пожирал ее глазами.

— Мне одна женщина в Луизиане сказала — я могу видеть такое, чего другие не видят. Потому что я в сорочке родился.

— Но тебе нипочем не углядеть, сколько там денег, — сказал я. — Лучше уж назови первую цифру, какая на ум взбредет, может, как раз и попадешь в точку.

— Ну да еще, — сказал он. — Этак запросто маху дашь. А мне ошибиться никак нельзя. Не, я так рассудил — чтобы уж было наверняка, надо все монетки пересчитать, до одной.

— Давай пересчитывай!

— Что пересчитывать? — неожиданно раздался голос Хаммураби — он как раз вошел в аптеку и теперь усаживался у стойки.

— Этот малец собирается пересчитать все деньги в бутылки, — объяснил я.

Хаммураби взглянул на Нютоока с интересом.

— А как же ты, сынок, собираешься это сделать?

— Сосчитаю, и все, — как ни в чем не бывало ответил Нютоок.

Хаммураби рассмеялся.

— Ну, для этого надо, сынок, чтобы глаза у тебя все насквозь видели, как рентген. Вот ведь какое дело.

— Вовсе и нет. Для этого надо только в сорочке родиться. Мне одна женщина в Луизиане сказала. Она была колдунья и во мне души не чаяла; как-то раз хотела она взять меня на руки, а мама не дала, так она напустила на нее порчу, и теперь в маме весу всего тридцать кило.

— Оч-чень ин-те-ресно! — только и сказал Хаммураби, бросив на Нютоока подозрительный взгляд.

К ним подошла Мидди, крепко сжимая в руках «Секреты экрана», и показала Нютооку один из снимков.

— Ой, ну до чего же хорошенькая! Ты глянь-ка, глянь. Нютоок, какие у ней зубы

красивые, один к одному.

— Да ладно, не переживай, — ответил он. Когда они ушли, Хаммураби заказал бутылку «Нехи» и стал его попивать, куря сигарету.

— И вы считаете этого малыша вполне нормальным? — вдруг спросил он с удивлением в голосе.

По-моему, лучше всего проводить рождество в маленьком городке. Здесь раньше чувствуется наступление праздника — все как-то быстрее преобразается и оживает под его чарами. Уже в начале декабря двери домов разукрашены гирляндами, в витринах пламенеют красные бумажные колокольчики, поблескивают слюдяные снежинки. Ребяшня совершает вылазки в лес и притаскивает оттуда пахучие свежие елки. Хозяйки пекут рождественские пироги — они открывают банки с заранее заготовленной сладкой начинкой, откупоривают бутылки с наливками. На площади перед судом высится огромная елка, увешанная серебряной канителью и разноцветными лампочками, которые вспыхивают с наступлением сумерек. В предвечерние часы из пресвитерианской церкви доносятся рождественские гимны это хор готовится к ежегодному представлению. Во всем городке цветет японская айва.

Единственным, кого словно бы не затрагивала эта радостная праздничная атмосфера, был Ноготок. Он взялся за свое дельце — подсчет денег в бутылки — с величайшей настойчивостью и дотошностью. В аптеку приходил изо дня в день уставится на бутылку, насупит брови и что-то бормочет себе под нос. Сперва мы смотрели на него, как замороженные, но потом это всем надоело, и мы перестали обращать на него внимание. Больше он так ничего и не купил, — должно быть, не мог наскрести четвертак. Иной раз он перебрасывался словом с Хаммураби — тот относился к нему с участливым любопытством и время от времени покупал ему засахаренный орех или солодкового корня на цент.

— Вы по-прежнему считаете, что у него не все дома? — как-то спросил я Хаммураби.

— Полной уверенности у меня нет, — ответил он. — Но когда разберусь, скажу тебе точно. По-моему, он недоедает. Свою-ка я его в «Радугу» и накормлю жареным мясом.

— Наверно, он предпочел бы получить от вас четвертак.

— Нет. Хорошая порция жаркого — вот что ему нужно. И вообще, лучше будет, если он не станет угадывать. Жутко нервный мальчонка и странный такой... Если все у него сорвется, каково будет мне сознавать, что втравил его в это я. Ой, жаль его будет ужасно!

Но мне, откровенно говоря, Ноготок казался в ту пору просто забавным. Мистер Маршалл жалел его, а заходившие к нам ребяташки повадились было его дразнить, но он не обращал на них никакого внимания, и понемногу они от него отстали. Когда ни придешь, он сидит у стойки, наморщив лоб и неотрывно глядя на бутылку. И так поглощен своим делом, что по временам у меня появлялось какое-то жуткое ощущение, — может, его здесь и нет вовсе? Но только, бывало, в это поверишь, он вдруг очнется и скажет что-нибудь вроде:

— Слышь, а хорошо бы, здесь оказалась монета тринадцатого года. Мне один парень говорил, он где-то видел такую монету, ей пятьдесят долларов цена!

Или:

— Мидди будет важной леди в кино. Они загибают кучу деньжищ, эти леди из кино. Тогда уж нам до самой смерти не надо будет капустный лист жевать. Да только Мидди говорит — не может она сниматься в кино, куда красивых зубов не вставит.

Мидди не всегда приходила вместе с братом. Когда она не являлась, Ноготок бывал сам не свой, на него нападала робость и вскоре он уходил.

Хаммураби выполнил свое обещание — он повел его в кафе и накормил жареным мясом.

— Что ж, мистер Хаммураби симпатичный, — рассказывал после Ноготок. Только выдумки у него какие-то чудацкие — воображает, что если бы он жил в этом самом Египте, то был бы там королем или вроде того.

А Хаммураби потом говорил нам:

— Малыш так трогательно верит, что выиграет, — это просто за душу берет. Но мне

лично наша затея, — тут он показал на бутылку с серебром, — начинает внушать омерзение. Жестоко это, давать человеку такую надежду, и я страшно жалею, что впутался в это дело.

Завсегда и нашей аптеки больше всего любили потолковать о том, кто что купил бы на выигранные деньги. В разговорах этих обычно участвовали Соломон Кац, Фиби Джонс, Карл Кунхард, Пьюли Симмонз, Эдди Фокс Крофт, Марвин Финкл, Труди Эдвардс и негр по имени Эрскин Вашингтон. Кто думал съездить в Бирмингем и сделать там перманент, кто мечтал о подержанном пианино, кто — о шетлендском пони, кто — о золотом браслете, кто хотел купить серию приключенческих книг, а кто — застраховать свою жизнь.

Как-то раз мистер Маршалл спросил Ноготка, на что истратил бы деньги он.

— Это секрет, — объявил Ноготок, и, как мы ни бились, вывести у него ничего не смогли. Так что мы просто решили: о чем бы он там ни мечтал, это, должно быть, и впрямь нужно ему позарез.

Настоящая зима обычно наступает в наших краях только в конце января и бывает довольно короткой и мягкой. Но в том году за неделю до рождества начались небывалые холода. Их у нас до сих пор вспоминают — до того страшная была стужа. В трубах замерзла вода; те, кто не удосужился запастись достаточно топлива для камина, по целым дням не вылезали из постели, дрожа под ватными одеялами; небо приобрело угрюмый и странный свинцовый оттенок, как перед бурей; солнце побледнело, словно луна на ущербе. Дул резкий ветер, он крутил сухие осенние листья, падавшие на обледенелую землю, и дважды срывал рождественское убранство с огромной елки на площади возле суда.

В домишках у шелкоткацкой фабрики, где ютилась самая беднота, семьи сходились по вечерам вместе и рассказывали в темноте разные истории, чтобы хоть на время забыть о холоде. Фермеры прикрывали зябкие растения джутовыми мешками и молились; впрочем, кое-кому из сельских жителей неожиданные морозы были на руку — они закалывали свиней и везли на продажу в город свежую колбасу. У входа в магазин Вулворта стоял Санта-Клаус в красном марлевом балахоне — это был мистер Джадкинс, городской пьяница. У него была большая семья, и потому все в городе были довольны, что в эти дни он трезв хотя бы настолько, чтоб заработать доллар. В церкви несколько раз устраивали праздничные вечера, и на одном из них мистер Маршалл нос к носу столкнулся с Руфусом Макферсоном; они крупно поговорили, — впрочем, до драки дело не дошло...

Как я уже упоминал, Ноготок жил на ферме, примерно в миле от Индейского Ручья, — значит, что-нибудь милях в трех от города, прогулка изрядная и довольно тоскливая. И все-таки, несмотря на холод, он ежедневно являлся в аптеку и просиживал до закрытия, а так как день становился все короче, то уходил он, когда уже было темно. Иной раз его подвозил на машине мастер с шелкоткацкой фабрики, но это случалось редко, да и то часть пути ему приходилось идти пешком. Вид у него был усталый и озабоченный, он всегда приходил к нам иззябший и трясся от холода. Едва ли под красным свитером и синими штанами у него было теплое белье.

За три дня до рождества он неожиданно объявил:

— Ну вот, я кончил. Теперь я знаю, сколько в бутылке денег.

В его словах была такая торжественная, глубокая вера, что в них нельзя было усомниться.

— Давай, давай, сынок, сочиняй, — подхватил Хаммураби, сидевший в аптеке. — Не можешь ты этого знать. И зря задуриваешь себе голову, ведь будешь потом убиваться.

— Да что вы меня все учите, мистер Хаммураби. Я и сам знаю, что к чему. Вот одна женщина в Луизиане, так она мне сказала...

— Слышал, слышал. Но пора об этом забыть. На твоём месте я пошел бы домой, больше сюда не ходил и постарался бы позабыть про эту проклятую бутылку.

— Мой брат нынче вечером играет на свадьбе в Чероки-сити, он мне даст четвертак, — сказал Ноготок упрямо. — Завтра я попытаю счастья.

Назавтра я даже разволновался, когда Ноготок и Мидди явились в аптеку. У него и в самом деле был четвертак, для пущей верности он завязал его в уголок красного носового

платка. Держась за руки, они с Мидди ходили вдоль застекленных шкафчиков и шепотом советовались, что им купить. В конце концов они выбрали крошечный, с наперсток величиной, флакончик цветочного одеколона. Мидди тут же открыла его и полила себе голову.

— Ой, до чего ж дух приятный!.. Пречистая дева, я сроду такого не слышала. Ноготок, родимый, дай-ка я тебе волосы сбрызну.

Но Ноготок не дался.

Пока мистер Маршалл доставал грессбух, куда он записывал все ответы, Ноготок подошел к стойке и, обхватив бутылку с серебром, стал нежно ее поглаживать. От волнения у него блестели глаза, пылали щеки. Все, кто был в это время в аптеке, столпились вокруг него. Мидди стояла поодаль, почесывая ногу, и нюхала одеколон. Хаммураби не было.

Мистер Маршалл послонявил кончик карандаша и улыбнулся:

— Ну давай, сынок. Так сколько там? Ноготок набрал побольше воздуха.

— Семьдесят семь долларов тридцать пять центов, — выпалил он.

В том, что он не округлил цифру, уже было что-то необычное — другие непременно называли круглую сумму. Мистер Маршалл торжественным голосом повторил ответ и записал его в книгу.

— А когда мне скажут, выиграл я или нет?

— В сочельник.

— Стало быть, завтра — да?

— Стало быть, завтра, — как ни в чем не бывало ответил мистер Маршалл. Приходи к четырем часам.

За ночь ртуть в градуснике опустилась еще ниже, а перед рассветом вдруг хлынул полетному быстрый ливень, и назавтра обледеневший город так и сверкал на солнце, напоминая северный пейзаж с открытки, — на деревьях поблескивали белые сосульки, мороз разрисовал все окна цветами. Мистер Джадкинс поднялся спозаранку и, неизвестно зачем, топал по улицам и звонил в колокольчик, то и дело прикладываясь к бутылке виски, которую доставал из заднего кармана брюк. День был безветренный, и дым из труб лениво полз вверх, прямо в тихое замерзшее небо. Часам к десяти хор в пресвитерианской церкви уже гремел вовсю, и городские ребятишки, напялив страшные маски, совсем как в день всех святых, с диким шумом гонялись друг за дружкой вокруг площади.

Около полудня в аптеку явился Хаммураби помочь нам все приготовить к торжественному моменту. Он принес увесистый кулек с мандаринами, и мы умяли их все до одного, бросая кожуру в новенькую пузатую печурку, которую мистер Маршалл сам себе преподнес на рождество. Затем мой дядюшка снял со стойки бутылку, старательно обтер ее и водворил на стол, передвинутый на середину помещения. Этим его помощь и ограничилась; потом он развалился в кресле и, чтобы как-то убить время, стал завязывать и развязывать зеленую ленту на горлышке бутылки. Так что вся остальная работа свалилась на нас с Хаммураби. Мы подмели пол и протерли зеркала, смахнули пыль со шкафов, развесили под потолком красные и зеленые ленты из гофрированной бумаги. Когда мы кончили, аптека приобрела очень нарядный вид. Но Хаммураби, с грустью оглядев плоды наших трудов, вдруг объявил:

— Ну, теперь я, пожалуй, пойду.

— А разве ты не останешься? — оторопело спросил мистер Маршалл.

— Нет, нет, — ответил Хаммураби и медленно покачал головой. — Не хотелось бы мне видеть, какое будет у мальчугана лицо. Как-никак праздник, и я намерен веселиться напропалую. А разве я смогу, имея такое на совести? Черт, да мне потом не заснуть.

— Ну, как угодно, — сказал мистер Маршалл и пожал плечами, но видно было, что он глубоко уязвлен. — Такова жизнь. И потом, кто знает? Может, он выиграет.

Хаммураби тяжело вздохнул.

— Какую цифру он назвал?

— Семьдесят семь долларов тридцать пять центов, — ответил я.

— Нет, это же просто фантастика, а? — воскликнул Хаммураби. Плюхнувшись в кресло рядом с мистером Маршаллом, он закинул ногу за ногу и закурил сигарету. — Если у вас найдется пастилка, я бы пососал, а то привкус какой-то противный во рту.

Приближался назначенный час, а мы все трое сидели вокруг стола, и на душе у нас кошки скребли. За все время мы даже словом не перемолвились. Игравшие на площади ребятишки разбежались, и теперь с улицы доносился лишь бой часов на башне суда. Аптека еще была закрыта, но народ уже прохаживался взад и вперед по тротуару, заглядывая в витрину. В три часа мистер Маршалл велел мне отпереть дверь. Минут через двадцать в аптеке яблоку негде было упасть. Все нарядились, в воздухе стоял сладкий запах — это благоухали девчонки с шелкоткацкой фабрики. Они проталкивались вдоль стен, карабкались на стойку, лезли, куда только могли. Вскоре толпа выплеснулась на тротуар и загрохотала мостовую. На площади выстроились запряженные лошадьми фургоны и старые фордики, в которых прикатили фермеры со своими семьями. Кругом шумели, смеялись, перебрасывались шутками. Несколько пожилых дам возмущались поведением мужчин помоложе — чего они толкаются и сквернословят, — но уйти никто не ушел. У бокового входа собралась кучка негров, те веселились вовсю. Раз уж представилась возможность поразвлечься, все старались не упустить ее ведь обычно у нас здесь такая тишь, редко когда что случается. Можно смело сказать — в тот день у аптеки собралась вся жителя нашего округа, за исключением больных и Руфуса Макферсона. Я огляделся, нет ли где Ноготка, но его что-то не было видно.

Мистер Маршалл прочистил горло и захлопал в ладоши, требуя внимания. Когда шум утих и нетерпение публики стало достаточно ощутимым, он выкрикнул, словно на аукционе:

— А теперь слушайте меня все. Вот в этом конверте, — тут он поднял над головами конверт из плотной бумаги, — так вот, здесь листок с ответом, и известен он пока что лишь Господу Богу да Первому национальному банку, ха-ха. А в эту книгу, — и он поднял другой рукой толстый гротеск, — я записывал цифры, которые вы мне называли. Вопросы есть?

Полнейшее молчание.

— Прекрасно. Теперь, если кто-нибудь вызовется мне помочь...

Никто не шевельнулся; казалось, толпу сковала неодолимая робость; даже рьяные любители покрасоваться перед публикой, и те смущенно переминались с ноги на ногу. Вдруг раздался громкий голос:

— А ну, дайте-ка мне. Посторонитесь маленько, мэ, будьте добры.

Это был Ноготок, он проталкивался сквозь толпу, а следом за ним пробирались Мидди и долговязый паренек с сонными глазами, — должно быть, тот самый брат, который играл на скрипке. Ноготок был одет, как всегда, только лицо оттер докрасна, надраил до блеска ботинки и так пригладил волосы, что они прилипли к коже.

— Мы не опоздали? — спросил он, часто дыша.

Вместо ответа мистер Маршалл спросил:

— Стало быть, ты готов нам помочь?

Сперва Ноготок смутился, потом решительно кивнул.

— Есть у кого-нибудь возражения против этого молодого человека?

Тишина по-прежнему была мертвая. Мистер Маршалл передал конверт Ноготку, тот спокойно взял его, но прежде, чем вскрыть, внимательно его оглядел, покусывая нижнюю губу. Все это время толпа безмолвствовала, лишь изредка то тут, то там слышалось покашливание да тихонько позвякивал колокольчик мистера Джадкинса. Хаммураби, привалясь к стойке, усердно разглядывал потолок; Мидди смотрела брату через плечо, и взгляд ее ничего не выражал, но, когда Ноготок стал вскрывать конверт, она охнула.

Ноготок извлек из конверта розовую бумажку и, держа ее осторожно, словно что-то очень хрупкое, еле слышно пробормотал какую-то цифру. Вдруг он побелел, в глазах у него блеснули слезы.

— Эй, малец, да говори, что ли! — заорал кто-то.

Тут к Ноготку подскочил Хаммураби и взял, нет, выхватил у него из рук бумажку.

Прочистив горло, он начал было читать, как вдруг лицо его исказилось самым комичным образом.

— Ох, Матерь Божия... — только и выдохнул он.

— Громче! Громче! — потребовали хором сердитые голоса.

— Жулье! — выкрикнул Джадкинс, успевший к этому времени основательно накачаться. — Гнусное мошенничество! Это ж слепому видно!

Поднялась буря — от улюлюканья и свиста колыхался воздух.

Брат Ноготка порывисто обернулся, погрозил толпе кулаком.

— А ну, заткнитесь, заткнитесь, вы, дурачье, слышали? Не то вот сшибу вас сейчас черепушками, так набьете себе шишек с дыню каждая.

— Граждане! — выкрикнул мэр Моуэс. — Граждане, ведь нынче, того, рождество на дворе... Вы, значит, того...

Тут мистер Маршалл вскочил на стул. Он топал ногами и хлопал в ладоши, пока не установился относительный порядок. Здесь стоит, пожалуй, упомянуть, что, как мы впоследствии выяснили, Руфус Макферсон специально нанял Джадкинса, чтобы тот затеял всю эту катавасию.

Когда страсти наконец улеглись, розовый листок нежданно-негаданно очутился у меня в руках — как, я и сам не знаю.

Я с ходу выкрикнул:

— Семьдесят семь долларов тридцать пять центов!

Отволнения я поначалу, конечно, не сообразил, что это та самая цифра, которую назвал Ноготок. Это дошло до меня, только когда я услышал ликующий вопль его брата. Имя победителя мигом облетело всю аптеку, и благоговеиный шепот пронесся над толпой, словно первый вздох бури.

А на самого Ноготка жалко было смотреть. Он захлебывался от рыданий, будто ему нанесли смертельный удар, но когда Хаммураби посадил его себе на плечи, чтобы показать толпе, он торопливо вытер глаза рукавом и расплылся в улыбке.

— Надувательство! Подлое надувательство! — вновь рявкнул Джадкинс, но рев его потонул в оглушительном грохоте рукоплесканий.

Мидди схватила меня за руку.

— Зубы! — взвизгнула она. — Теперь у меня будут зубы!

— Зубы? — переспросил я ошалело.

— Ну да, вставные зубы, вот на что мы истратим эти деньги. Теперь у меня будут красивые белые зубы.

Но в ту минуту меня интересовало только одно — каким образом Ноготок угадал?

— Эй, Мидди, скажи мне, — взмолился я, — скажи ты мне, Бога ради, откуда он знал, что там ровно семьдесят семь долларов тридцать пять центов?

Мидди бросила на меня недоумевающий взгляд.

— А я думала, Ноготок говорил тебе, — ответила она совершенно серьезно. Он сосчитал.

— Да, но как? Как?

— О, господи, да ты что, не знаешь, как считают, что ли?

— Он только считал, и все?

— Н-ну, еще он помолился немножко, — сказала она после некоторого раздумья и стала проталкиваться к братьям, но вдруг обернулась и крикнула мне: — И потом, ведь он родился в сорочке!

И более вразумительного объяснения этой загадки я так ни от кого и не слышал. Когда Ноготка впоследствии спрашивали: «Как это ты?» — он только странно улыбался и переводил разговор на другое. Потом, через много лет, он вместе с семьей переехал куда-то во Флориду, и больше мы о них не слыхали.

Но легенда о Ноготке жива в нашем городе и поныне. А мистера Маршалла до самой его смерти, последовавшей в апреле прошлого года, неизменно приглашали на рождество в

баптистскую церковь — рассказывать эту историю ученикам воскресной школы. Как-то раз Хаммураби отстучал об этом рассказ и разослал его во многие журналы. Но он так и не был напечатан. Ему ответил только один редактор, да и тот написал: «Если бы эта девчушка и вправду стала кинозвездой, тогда в Вашей истории был бы какой-то смысл».

Но на самом-то деле этого не случилось, так зачем же выдумывать?

Мириэм

перевод С. Митиной

Вот уже несколько лет миссис Г. Т. Миллер жила одна в уютной квартире (две комнаты и кухонька) в перестроенном доходном доме близ Ист-Ривер. Она была вдова; после Г. Т. Миллера осталась довольно изрядная страховка. Круг ее интересов был узок, друзей она, в сущности, не имела и вылазки совершала обычно не дальше продуктового магазина на ближайшем углу. Другие жильцы, видимо, ее попросту не замечали: одежда у нее была будничная, волосы короткие, серовато-седые, уложены кое-как; лицо простое, ничем не примечательное; косметики она не употребляла; в последний день рождения ей минул шестьдесят один год. Занималась она, как правило, делами самыми повседневными: содержала в безупречной чистоте свои две комнаты, время от времени выкуривала сигарету, готовила себе еду и ухаживала за канарейкой.

А потом повстречалась с Мириэм. В тот вечер шел снег. Миссис Миллер вытерла после ужина посуду и, листая вечернюю газету, наткнулась на рекламу фильма, который шел в соседнем кинотеатре. Название звучало заманчиво, и она влезла в бобриковое пальто, зашнуровала ботинки и вышла из квартиры, оставив в прихожей гореть лампочку: ничто не вызывало у нее такого тревожного чувства, как темнота.

Снежок был приятный, падал медленно, не оставляя следов на тротуаре. Ветер с реки свирепствовал только на перекрестках. Миссис Миллер шла торопливо, опустив голову и ничего не видя вокруг, словно крот, вслепую прокладывающий себе ход под землей. По дороге она зашла в аптеку-закусочную, купила пакетик мятных конфет.

Перед кассой кино выстроилась длинная очередь, и ока стала в самый хвост. В зрительный зал — проскрипел усталый голос — будут пускать немного погодя. Миссис Миллер пошарила в кожаной сумочке и набрала ровно столько мелочи, сколько нужно на билет, без сдачи. Казалось, очередь еле ползет; миссис Миллер огляделась, ища, на чем бы остановить взгляд, и вдруг в глаза ей бросилась девочка — она стояла под навесом, у самого его края.

Никогда еще миссис Миллер не видела таких длинных, необыкновенных волос: совершенно белые, с серебристым отливом, как у альбиноса, они свободно ниспадали до пояса шелковистыми струями. Девочка была худощавая, хрупкая. Было особое неброское изящество в том, как она стояла, засунув большие пальцы в карманы отлично сшитого пальто из лилового бархата.

Непонятное волнение охватило миссис Миллер, и, когда девочка посмотрела в ее сторону, она тепло ей улыбнулась. Девочка подошла, спросила:

— Вы не сочтете за трудность мне помочь?

— Почему же, охотно, если смогу.

— О, это очень просто. Я хочу только, чтобы вы купили мне билет; иначе меня не пропустят. Деньги у меня есть — вот.

И грациозным движением она протянула миссис Миллер три монеты: две по десять центов, одну — в пять.

В кино они вошли вместе. Билетерша предложила им подождать в фойе: через двадцать минут картина кончится.

— Я чувствую себя форменной преступницей, — весело заговорила миссис Миллер, усаживаясь в кресло. — Ну, я в том смысле, что это же против правил, верно? Ой, я надеюсь, что не сделала ничего предосудительного. Ведь твоя мама знает, где ты, детка? Конечно же, знает, да?

Девочка ничего не ответила. Она расстегнула пальто, сняла его и аккуратно сложила у себя на коленях. Под пальто на ней было строгое темно-синее платье. С шеи свисала золотая цепочка, и она перебирала ее чуткими музыкальными пальцами. Повнимательней присмотревшись к девочке, миссис Миллер решила, что самое в ней примечательное — не волосы, а глаза: светло-карие, неподвижные, совершенно недетские, и огромные, чуть не во все ее маленькое лицо.

Миссис Миллер предложила ей мятную конфету.

— Как тебя зовут, детка?

— Мириэм, — ответила девочка таким тоном, будто бы это почему-то должно было быть известно миссис Миллер,

— Ой, до чего забавно, а? Меня тоже зовут Мириэм. И ведь имя не то чтобы очень распространенное. Нет, только не говори мне, что твоя фамилия — Миллер.

— Я просто Мириэм.

— Но это ужасно забавно, да?

— В известной степени, — ответила Мириэм, перекатывая во рту мятную конфету.

Миссис Миллер вспыхнула, неловко заерзала в кресле.

— У тебя очень большой запас слов для такой маленькой девочки.

— Вот как?

— Да, очень. — И миссис Миллер поспешила переменить тему: — Ты любишь кино?

— Право, затрудняюсь сказать, — ответила Мириэм. — Я еще не была ни разу.

Фойе понемногу заполняли зрительницы; из зала доносился отдаленный грохот бомбежки — шла кинохроника. Миссис Миллер поднялась, зажав сумочку под мышкой.

— Пожалуй, мне надо бежать, а то как бы не остаться без места, — сказала она. — Рада была с тобой познакомиться.

Мириэм едва кивнула в ответ.

Снег шел всю неделю. Люди и машины двигались по улице совершенно беззвучно; казалось, жизнь идет тайком, прячась за блеклой, но непроницаемой завесой. И в этом падающем безмолвии не было ни земли, ни неба, лишь взметаемый ветром снег, что покрывал изморозью витрины, выстуживал жилье, приглушал шумы города, мертвил его. Свет приходилось зажигать прямо с утра, и миссис Миллер потеряла счет дням: пятница слилась с субботой, и потому в магазин она отправилась в воскресенье, — закрыто, разумеется.

В тот вечер она довольствовалась яичницей и мисочкой томатного супа. Потом надела бумазейный халат, намазала лицо кремом и удобно устроилась в постели, положив к ногам грелку. Она читала «Нью-Йорк таймс», когда в дверь позвонили. Сперва, ей подумалось, что это ошибка и, кто бы там ни был за дверью, все равно он сейчас уйдет. Но звонок все звонил — сперва раз за разом, потом беспрерывно. Она посмотрела на часы: начало двенадцатого. Нет, это что-то невероятное, ведь в десять она всегда уже спит.

Миссис Миллер вылезла из постели, прошлепала босиком через гостиную.

— Иду, иду, потерпите, пожалуйста.

Замок заело, и пока она поворачивала его то в одну, то в другую сторону, звонок звонил, не умолкая ни на секунду.

— Прекратите! — выкрикнула миссис Миллер. Наконец замок поддался, и она чуть-чуть приоткрыла дверь. — Бога ради, в чем дело?

— Здравствуйте, это я, — сказала Мириэм.

— Ох... Нну-у, здравствуй, — ответила миссис Миллер и нерешительно вышла в холл. — Ты — та самая девочка...

— Я уж думала, вы никогда не откроете, но все равно держала палец на кнопке. Я

знала, что вы дома. Вы мне не рады?

Миссис Миллер не нашла, что ответить. На Мириэм было все то же бархатное пальто, но на сей раз еще и такой же берет; белые волосы разделены на две сверкающие косы и завязаны на концах огромными белыми бантами.

— Раз уж мне пришлось столько дожидаться, вы могли бы, по крайней мере, впустить меня, — сказала она.

— Но ведь уже страшно поздно.

Мириэм посмотрела на нее пустыми, непонимающими глазами.

— А какое это имеет значение? Дайте же мне войти. Здесь холодно, а я в шелковом платье.

Легким жестом она отстранила миссис Миллер и вошла в квартиру.

Она положила пальто и берет на кресло в гостиной. Платье на ней и в самом деле было шелковое. Белый шелк. Белый шелк — в феврале. Юбка красиво уложена в складку, рукава длинные, при каждом ее движении платье слегка шуршало.

— А мне у вас нравится, — объявила она, расхаживая по комнате. — Нравится ковер, синий цвет — мой любимый. — Потом потрогала одну из бумажных роз, стоявших в вазе на кофейном столике. — Искусственные, — тусклым голосом протянула она. — Как грустно. Все искусственное наводит грусть. Верно?

И она уселась на диван, грациозно расправив складки платья.

— Что тебе нужно? — спросила миссис Миллер.

— Сядьте, — сказала Мириэм. — Мне действует на нервы, когда человек стоит,

Миссис Миллер без сил опустилась на кожаный пуфик.

— Что тебе нужно? — повторила она.

— А знаете, по-моему, вы вовсе не рады, что я пришла.

И миссис Миллер снова не нашла ответа; только чуть повела рукой. Мириэм хихикнула и удобно откинулась на гору ситцевых подушек. Миссис Миллер отметила про себя, что сегодня девочка не такая бледная, какой она ей запомнилась с того раза: щеки у нее горели.

— Откуда ты узнала мой адрес?

Мириэм нахмурилась.

— Ну это вообще не проблема. Как вас зовут? А меня?

— Но я же не значусь в телефонной книге.

— Ой, давайте поговорим о чем-нибудь другом.

— Твоя мама просто ненормальная, не иначе, — сказала миссис Миллер, Позволяет такому ребенку разгуливать ночью, да еще одела тебя так нелепо. Нет, она сошла с ума, не иначе.

Мириэм встала и направилась в тот угол гостиной, где на цепи свисала с потолка укрытая на ночь птичья клетка. Она заглянула под покрывало.

— Канарейка! Ничего, если я разбужу ее? Мне хочется послушать, как она поет.

— Оставь Джинни в покое, — вскинулась миссис Миллер. — Не смей ее будить, слышишь?

— Да. Но я не понимаю, почему нельзя послушать, как она поет, — сказала Мириэм. — Потом вдруг: — У вас не найдется чего-нибудь поесть? Я умираю с голода. Хотя бы молоко и сэндвич с джемом, и то было бы прекрасно.

— Вот что, — проговорила миссис Миллер, поднимаясь с пуфа. — Вот что, я тебе приготовлю вкусные сэндвичи, а ты будешь умницей и потом сразу же побежишь домой, ладно? Ведь уже за полночь, я уверена.

— Снег идет. — Голос у Мириэм был укоризненный. — На улице холодно и темно.

— Ну, прежде всего, тебе вообще незачем было сюда являться, — ответила миссис Миллер, стараясь совладать со своим голосом. — А погода от меня не зависит... Хочешь, чтобы я тебя покормила, — обещаю сперва, что уйдешь.

Мириэм провела бантом по щеке, взгляд у нее стал сосредоточенный, словно она обдумывала это предложение. Потом повернулась к птичьей клетке.

— Что ж, ладно, — сказала она. — Обещаю.

Сколько ей лет? Десять? Одиннадцать? В кухне миссис Миллер нарезала четыре ломтика хлеба и открыла банку с клубничным вареньем. Налив стакан молока, она сделала передышку, чтобы закурить. И зачем она пришла? Рука ее, державшая спичку, тряслась; так она сидела, словно оцепенев, пока огонек не опалил ей палец.

В комнате пела канарейка, — пела, а ведь такое бывало только по утрам.

— Мириэм! — крикнула миссис Миллер. — Мириэм, я же тебе сказала, не тревожь Джинни.

Никакого ответа.

Она крикнула еще раз; и снова — лишь пение канарейки. Она затаилась, обнаружила, что зажгла сигарету не с того конца и... нет, выходить из себя не надо, нельзя.

Миссис Миллер внесла поднос с едой в гостиную и поставила его на кофейный столик. Первое, что ей бросилось в глаза, — клетка по-прежнему укрыта. А Джинни поет. Что же это такое творится? И в комнате — никого. Миссис Миллер прошла через нишу, ведущую в спальню, и остановилась в дверях, — у нее перехватило дыхание.

— Ты что это делаешь?

Мириэм вскинула на нее глаза — взгляд у нее был какой-то странный. Она стояла у комода, а перед нею — раскрытая шкатулка для украшений. С минуту она смотрела на миссис Миллер в упор, пока не вынудила ту взглянуть ей прямо в глаза, и вдруг улыбнулась,

— Здесь нет ничего стоящего. Но вот эта вещица мне нравится. — В руке у нее была брошь-камея. — Очаровательная.

— Мне кажется... Послушай, лучше бы тебе все-таки положить ее на место, еле выговорила миссис Миллер и вдруг почувствовала: надо немедленно опереться на что-то, не то она упадет. Она прислонилась к дверному косяку; голова налилась невыносимой тяжестью, сердце сдавило, оно заколотилось сильно и тяжело. Лампа замигала, будто в ней что-то разладилось.

— Прошу тебя, детка... Подарок покойного мужа...

— Но она красивая, я ее хочу, — сказала Мириэм. — Отдайте ее мне.

И пока миссис Миллер стояла в дверях, лихорадочно подыскивая слова, которые каким-то образом помогли бы ей спасти брошку, до нее дошло, что за помощью ей обратиться совершенно не к кому, она одна как перст: мысль эта не приходила ей в голову очень давно, и полнейшая ее беспощадность ошеломляла. Однако здесь, в ее собственной квартире, в притихшем под снегом городе были столь явные тому доказательства, что она не могла от них отмахнуться, не могла — как уже поняла с поразительной ясностью — им противостоять.

Мириэм набросилась на еду с жадностью, и, когда с молоком и сэндвичами было покончено, пальцы ее паучьими движениями забегали по тарелке, сгребая крошки. На лифе ее платья поблескивала камея; белый профиль загадочным образом повторял лицо самой Мириэм.

— До чего вкусно, — вздохнула она. — Теперь бы еще миндальное пирожное или глазированную вишню, было бы совсем замечательно. Сладости — хорошая штука, правда?

Миссис Миллер, кое-как примостившись на краешке пуфа, курила сигарету. Сетка у нее на голове сбилась набок, выбившиеся пряди волос рассыпались по лбу. Глаза бессмысленно глядели в пространство, на лице загорелись красные пятна, словно неизгладимые следы свирепой затрешины.

— Найдется у вас конфета? Пирожное?

Миссис Миллер стряхнула пепел прямо на ковер. Повела головой, пытаясь сосредоточить взгляд на чем-то одном.

— Ты обещала, что уйдешь, если я приготовлю тебе сэндвичи.

— Бог мой, да неужели?

— Ты дала обещание, а теперь я устала, и вообще мне нехорошо.

— Не надо злиться, — сказала Мириэм. — Я же вас просто дразню.

Она взяла с кресла пальто, перекинула через руку, надела перед зеркалом берет. Потом вдруг склонилась к самому лицу миссис Миллер и прошептала:

— Поцелуйте меня на прощание.

— Право же... Пожалуй, лучше не надо... — ответила миссис Миллер.

Мириэм вздернула плечо, выгнула бровь.

— Ну, как угодно, — сказала она, пошла напрямиком к кофейному столику, схватила вазу с бумажными розами и, сойдя с ковра, швырнула ее об пол. Осколки брызнули во все стороны, цветы она придавила ногой. Потом медленно двинулась к двери, но, прежде чем закрыть ее за собою, обернулась и бросила на миссис Миллер взгляд, исполненный лукаво-невинного любопытства.

Весь следующий день миссис Миллер пролежала в постели — встала только раз, чтобы задать корм канарейке и выпить чашку чая; измерила температуру нормальная; а сны были горячечные, сумбурные, и порожденная ими неясная тревога не покидала ее и тогда, когда она не спала, а просто лежала, уставясь широко раскрытыми глазами в потолок. Один сон вплетался во все остальные, повторяясь, словно неуловимо-таинственная тема сложной симфонии; картины его были особенно четкие, будто выведены уверенной и сильной рукой: девочка в подвенечном платье и венке из листьев шествует во главе серой процессии, спускающейся по горной тропе; все почему-то молчат, но вот какая-то женщина в заднем ряду спрашивает: «Куда она нас ведет?» — «Это неведомо никому», отвечает ей старик из переднего ряда. «Но до чего же она хороша, правда? вмешивается третий голос. — Совсем как морозный узор... Такая сверкающая и белая!»

Проснувшись во вторник утром, миссис Миллер почувствовала себя лучше; резкие узкие полосы солнца косо падали сквозь прорези жалюзи, и в их свете рассеялись ее болезненные видения. Она распахнула окно — началась оттепель, день был по-весеннему мягкий: чистые новенькие облака громоздились на фоне синего, не по-зимнему яркого неба; за коньками невысоких крыш виднелась река, и теплый ветер закручивал дымы над трубами буксиров. Большой серебристый автофургон пропахивал заснеженную улицу, двигаясь меж двух рядов сугробов, и воздух наполнился шумом его мотора.

Наведя порядок в квартире, миссис Миллер сходила в магазин за продуктами, потом получила деньги по чеку и завернула в кафетерий Шрафта — там она позавтракала и с удовольствием поболтала с официанткой. Ну что за чудесный денек, настоящий праздник — идти домой было бы просто глупо.

Поэтому на Лексингтон-авеню она села в автобус и доехала до Восемьдесят шестой улицы, а здесь решила немножко походить по магазинам.

Она и сама не знала, что ей нужно и чего хочется, — просто бродила без всякой цели, разглядывая прохожих, торопливо и деловито сновавших мимо, и от их вида у нее возникало щемящее чувство одиночества.

И вот тогда-то, стоя у перехода на углу Третьей авеню, она увидела того человека — это был кривоногий старик в клетчатой кепке и потертом коричневом пальто; согнувшись, он с трудом тащил охапку переполненных коробок. До нее вдруг дошло, что они улыбаются друг другу; в улыбке этой не было ни малейшего дружелюбия — просто холодная вспышка взаимного узнавания. А вместе с тем она была совершенно уверена, что видит его впервые.

Он прислонился к опоре надземки и, когда миссис Миллер стала переходить улицу, повернулся и пошел следом. Так он и шел за нею, чуть ли не по пятам; уголком глаза она следила за его колеблющимся отражением в стеклах витрин.

Потом в середине квартала остановилась, резко повернулась к нему лицом. Он тоже остановился и, ухмыляясь, вскинул голову. Но что она могла сказать ему? Что могла поделаться? Вот сейчас, среди бела дня, на людной Восемьдесят шестой улице? Незачем было и останавливаться. И, презирая себя за беспомощность, она лишь ускорила шаг.

Вторая авеню — улица мрачная; мостовая ее словно собрана из кусков: где асфальт, где — бульжник, где- бетон; и всегда здесь пустынно, безлюдно. Миссис Миллер прошла пять кварталов, не встретив ни души, и все это время слышала шаги и скрип снега у себя за

спиной. Когда она поравнялась с цветочным магазином, шаги были все так же близко. Опротевью вбежала она в магазин и припала к стеклянной двери; старик проходил мимо, все так же глядя прямо перед собой; он не сбавил шага, но сделал странный многозначительный жест: коснулся рукою кепки.

— Шесть белых, вы сказали? — переспросил продавец.

— Да, шесть белых роз, — ответила миссис Миллер.

Из цветочного магазина она отправилась в посудный и выбрала там вазу, как предполагалось — взамен той, что разбила Мириэм; однако цена была непомерная, а сама ваза (подумалось миссис Миллер) чудовищно безвкусная. Но, раз начавшись, непонятные эти покупки следовали одна за другой, будто по заранее намеченному плану — плану, которому она подчинялась помимо своего сознания и воли.

Она купила пакетик глазированных вишен, потом зашла в кондитерскую под названием «Никербокер» и взяла шесть миндальных пирожных, уплатив сорок центов.

За последний час снова похолодало; зимние облака, словно помутневшие линзы, не пропускали солнечного света, и небо стало окрашиваться в полупрозрачные тона ранних сумерек; сырой туман смешался с ветром, и голоса немногих детей, шумно игравших на горках грязного снега, звучали безрадостно и одиноко. Вскоре упали первые белые хлопья, и, когда миссис Миллер дошла до своего дома, снег падал густой завесой, и следы на тротуарах исчезали, едва успев появиться.

Красивые белые розы стояли в вазе. Глазированные вишни поблескивали на керамической тарелочке. Миндальные пирожные, посыпанные сахарной пудрой, ждали, когда к ним протянется нетерпеливая рука. Канарейка, сидя на качающейся жердочке, хлопала крыльями и склевывала семена с брикета.

Ровно в пять часов в дверь позвонили. Миссис Миллер уже знала, кто это. Она пошла через гостиную в прихожую, и подол ее халата волочился по полу.

— Это ты?

— Разумеется, — сказала Мириэм; голос ее резко зазвучал на лестничной площадке. — Отворите.

— Уходи, — ответила миссис Миллер.

— Пожалуйста, побыстрее... У меня тяжелая поклажа.

— Уходи, — повторила миссис Миллер. Она вернулась в гостиную, закурила сигарету и села, спокойно слушая, как надрывается звонок: он все звонил, и звонил, и звонил.

— Уходи, ничего тебе не поможет. Все равно я тебя не впущу.

Вскоре звонок умолк. Минут десять миссис Миллер просидела, не двигаясь. С лестницы не доносилось ни звука, и миссис Миллер решила, что Мириэм ушла. На цыпочках подкралась она к двери и чуть приоткрыла ее:

Мириэм полусидела на большой картонной коробке, держа на руках красивую фарфоровую куклу.

— Право, я уж думала, вы никогда не откроете, — сказала она капризно. Ну-ка, помогите мне внести эту штуку, она ужасно тяжелая.

Не натиск чужой силы, сродни колдовской, ощутила миссис Миллер, нет, скорее какое-то непонятное безразличие; она внесла коробку. Мириэм — куклу. Мириэм свернулась клубочком на диване, даже не потрудившись снять пальто и берет, и без всякого интереса смотрела на миссис Миллер — та опустила коробку и теперь стояла рядом, стараясь выровнять дыхание.

— Благодарю вас, — сказала Мириэм. При свете дня она выглядела изнуренной и обессиленной, волосы ее уже не светились прежним блеском. У фарфоровой куклы, которую она любовно прижимала к себе, был изысканный пудренный парик, и ее бессмысленные стеклянные глаза глядели в глаза Мириэм, ища в них утешения. — А у меня для вас сюрприз, — продолжала она. — Загляните-ка в коробку.

Опустившись на колени, миссис Миллер разняла картонные створки и вынула еще одну куклу, затем — синее платье (то самое, в котором Мириэм была тогда в кино); и, оглядев

остальное, сказала:

— Тут все одежда. В чем дело?

— А в том, что я пришла к вам жить, — ответила Мириэм, терзая пальцами стебелек глазированной вишни. — Как это мило с вашей стороны — купили мне вишен...

— Но это исключено! Бога ради, уходи, уходи и оставь меня в покое.

— ...розы, и миндальные пирожные. Щедрость просто необыкновенная. Знаете, эти вишни — объедение. До вас я жила у одного старика; он был ужасно бедный, и мы никогда не ели ничего вкусного. Но здесь, я думаю, мне будет хорошо. — На мгновение она смолкла, крепче прижимая к себе куклу. — Так вот, покажите только, где разложить мои вещи...

Лицо миссис Миллер превратилось в маску, исчерченную уродливыми красными морщинами; она зарыдала — то было какое-то странное судорожное всхлипывание, плач всухую, словно бы оттого, что она не плакала так давно, миссис Миллер вообще позабыла, как это бывает. Незаметным движением она подалась назад и стала медленно, осторожно пятиться, покуда не очутилась у двери.

Спотыкаясь, пробралась она через холл, бросилась вниз по лестнице и на следующей же площадке бешено забарабанила в ближайшую дверь; ей открыл плотный рыжеволосый коротыш, и, оттолкнув его, она вбежала в квартиру.

— Да что с вами такое, черт побери? — удивился он.

— Что там стряслось, котик?

Из кухни, вытирая руки, вышла молодая женщина. К ней и кинулась миссис Миллер.

— Слушайте! — выкрикнула она. — Мне стыдно, что я вот так к вам врываюсь, но... В общем, я миссис Г. Т. Миллер, живу над вами... — Она уткнулась лицом в ладони... — Нет, если рассказать, подумаете — бред.

Женщина подвела ее к стулу и усадила, коротыш нетерпеливо позвякивал в кармане мелочью.

— Я живу над вами, и ко мне приходит одна девочка, и знаете, я ее просто боюсь. Сама уходить не хочет, выгнать ее я не в силах, а она задумала что-то страшное. Уже украла у меня камею, теперь опять затевает что-то, еще хуже, что-то ужасное!..

— Родственница, что ли? — осведомился коротыш. Миссис Миллер помотала головой.

— Не знаю, кто она. Зовут ее Мириэм, но кто она, я толком не знаю.

— Да вы успокойтесь, милуша. — Молодая женщина похлопала миссис Миллер по плечу. — Вот он, Гарри, он живо управится с этой девчонкой. Сходи туда, котик.

— Квартира 5-А, дверь не заперта, — добавила миссис Миллер,

Коротыш ушел, а женщина принесла мокрое полотенце и обтерла миссис Миллер лицо.

— Какая вы славная, — сказала миссис Миллер. — Мне совестно, что я вела себя, как последняя дура, но эта ужасная девчонка...

— Все ясно, милуша, — стала успокаивать ее женщина. — Вы только не волнуйтесь, не надо.

Миссис Миллер опустила голову на сгиб локтя; ее вдруг охватил такой покой — впору уснуть. Но тут молодая женщина повернула ручку приемника: звуки рояля и глуховатый голос наполнили тишину. Женщина стала отбивать ногою такт, очень точно, ритмично.

— Может, и нам подняться, а?

— Не хочу больше ее видеть. Ближе подходить не хочу.

— Угу, но вам бы, знаете чего, вам бы позвать полицию.

Тут они услышали на лестнице шаги. Коротыш вошел в комнату нахмуренный, озадаченно поскреб в затылке.

— Там — никого, — сказал он в явном замешательстве. — Смылась, наверно.

— Гарри, ты балда, — объявила женщина. Мы тут сидим безвылазно и уж наверняка бы не пропустили... — Она осеклась под его острым взглядом.

— Я всю квартиру обшарил, и никого там нет, ну ни души. Ни души, ясно?

— Скажите мне... — Миссис Миллер встала. — Скажите, большую коробку вы видели? А куклу?

— Нет, мэм, не видел.

И тогда, словно вынося приговор, молодая женщина обронила:

— Да-а... И такой поднять тарарам...

Миссис Миллер тихонько открыла дверь своей квартиры, прошла на середину гостиной, постояла, не двигаясь. Нет, с виду как будто ничего не изменилось: розы, пирожные, вишни — все на месте. Но комната опустела; и даже если бы исчезла вся мебель, все привычные глазу вещицы, она и то не казалась бы такой опустевшей — безжизненная, застывшая, как похоронное бюро. Перед глазами маячил диван, какой-то чужой, но чужой по-новому, и в том, что на нем никого не было, таился особый смысл, пронзающе-ужасный: уж лучше бы на диване лежала, свернувшись клубочком, Мириэм. Миссис Миллер все глядела и глядела на то место, куда своими руками поставила коробку, и секунду-другую пуф бешено вертелся у нее перед глазами. Потом она выглянула в окно: да, бесспорно, река там, вдали, настоящая, бесспорно и то, что сейчас идет снег, но все равно ни в чем, что видят твои глаза, нельзя быть уверенным до конца: Мириэм здесь, это так явственно ощутимо, и все же где она? Где? Где?

Славно во сне, миссис Миллер опустила на стул. Комната теряла привычные очертания; темнело, темнота все сгущалась, и она ничего не могла поделать: не было сил поднять руку и включить лампу.

Она закрыла глаза, и вдруг — толчок изнутри, ее словно вынесло на поверхность, как пловца, что выныривает откуда-то из глубоких зеленых глубин. В дни ужаса или безмерной скорби бывают минуты, когда разум застывает, будто ждет озарения, а меж тем покой исподволь окутывает его, словно обматывая пряжей; состояние это сродни сну или какому-то непостижимому забытию; во время такой передышки к человеку возвращается способность рассуждать спокойно и здраво. Ну, а что, если на самом деле ей никогда не встречалась девочка по имени Мириэм? Если тогда, на улице, она испугалась просто сдуру? В конце концов, это же не имеет значения — как, впрочем, и все остальное. Ведь единственное, что отняла у нее Мириэм, — ощущение собственного «я», но теперь она чувствовала, что вновь обрела себя самое — ту, что живет в этой квартире, готовит себе еду, ухаживает за канарейкой; ту, на кого она может положиться, кому может полностью доверять — миссис Г. Т. Миллер.

Успокоенная, вслушивалась она в тишину, и вдруг до сознания ее дошел двойной звук: ящик комода открыли, снова закрыли; звук этот стоял у нее в ушах еще долго после того, как смолк: открыли-закрыли. Потом, постепенно, его грубая ощутимость сменилась шелестом шелкового платья, и шелест этот, такой деликатный, слабый, все приближался, все нарастал, и вот уже от него сотрясаются стены, и комнату захлестывает волна шорохов. Миссис Миллер оцепенела, глаза ее открылись — и встретили мрачный взгляд в упор.

— Вот и я, — сказала Мириэм.

Я тоже могу такого порассказать...

перевод С. Митиной

Текст рассказа отсутствует

Дерево ночи

перевод Е. Суриц

Была зима. Снизка голых лампочек, из которых будто выкачали весь жар, освещала холодный сквозной полустанок. Недавно прошел дождь, и теперь по застрехам станционного здания гнусными зубьями какого-то стеклянного чудовища торчали сосульки. По платформе —

совершенно одна — бродила молодая, довольно высокая девушка. Волосы, расчесанные на прямой пробор и аккуратно выложенные валиками по щекам, были густого светло-русого тона; и при чересчур, пожалуй, худом и узком лице, она была все же, пусть и не чересчур, но мила. Кроме пачки журналов и сумочки, на которой витиеватой латунией было выведено «Кей», она почему-то держала броско-зеленую гитару.

Поезд, плюясь паром, слепя, вылетел из темноты, с разгону осекся, Кей подобрана свое имущество и влезла в последний вагон.

Вагон хранил остатки прежней роскоши: древние красно-плюшевые сиденья в проплешинах, облупленная, ядовито-желтая деревянная обшивка. Старинная медная лампа, вделанная в потолок, выглядела романтично и неприкаянно. Унылый мертвый дым плыл под лампой, и перегрелая спертость обостряла составную вонь объедков, яблочных огрызков, апельсиновой кожуры; весь этот мусор, вместе с бумажными стаканчиками из-под соды, искромсанными газетами, усеял весь проход. Питьевой фонтанчик в стене ронял неизбывную струйку на пол. Вскидывавшим на Кей усталые глаза пассажирам это, кажется, ничуть не мешало.

Преодолев искушение зажать нос, Кей пробиралась по проходу и только раз споткнулась, правда не упав, о вытянутую ногу дремотного толстяка. Двое мужчин проводили ее внимательным взглядом; да еще мальчонка вскочил и орал: «Ой, мамка, глянь, банжа какая! Тетенька, дай на банже поиграть!» — покуда мамка его не утомонила шлепком.

Было только одно свободное место. Кей его нашла в самом конце вагона, в отдельной выгородке, где уже сидели мужчина и женщина, лениво закинув ноги на свободное сиденье напротив. Кей секунду поколебалась, потом спросила:

— Ничего, если я тут сяду?

Женщина дернула головой так, будто ее не простейшим вопросом побеспокоили, а укололи иголкой. Тем не менее она выдавила улыбку.

— Вольному воля, чего и не сесть, милоч, — сказала она, сбросила ноги с сиденья и со странным безразличием убрала ноги мужчины, который смотрел в окно и даже не оглянулся на Кей.

Кей поблагодарила женщину, сняла плащ, села, устроилась — гитара и сумочка под боком, журналы на коленях: вполне удобно, хотя подушка под спину не помешала бы.

Вагон качнуло; в окна шикнул пар. Поплыли медленно тусклые огни полустанка и стерлись.

— Надо же, дыра-то какая, — сказала женщина. — Ни города, ничего.

Кей сказала:

— До города всего несколько миль.

— Во как? Тутешняя, стало быть?

— Нет. — Кей объяснила, что ездила на похороны дяди. Который, хоть она, конечно, умолчала об этом, не оставил ей по завещанию ничего, кроме зеленой гитары. И куда ж она теперь? Ох, да обратно в колледж.

Взвесив это сообщение, женщина заключила:

— И на кого там учат, в месте таком? Скажу тебе, милоч, сама я страсть какая ученая, а в колледж пока не заглядывала.

— Вот как? — вежливо бормотнула Кей и, заканчивая разговор, открыла журнал. Свет был тусклый для чтения, ни один рассказ не соблазнял. Однако, не желая участвовать в этом словесном марафоне, она так и сидела, тупо уставясь в страницу, пока ее легонько не стукнули по коленке.

— Начитаешься еще, — сказала женщина. — Мне поговорить бы с кем. С ним не больно разговоришься. — Она ткнула большим пальцем в молчащего мужчину. — Убогий он: глухонемой, поняла?

Кей сложила журнал и посмотрела на женщину; можно сказать, в первый раз на нее посмотрела. Низенькая; ноги еле достают до полу. И, как у всех низкорослых, было нарушение пропорций, в данном случае — большущая, просто огромная голова. Вислые

мясистые щеки так сверкали румянами, что возраст не угадаешь: может быть, лет пятьдесят, пятьдесят пять.

Бессмысленные большие глаза косили, будто уклонялись от увиденного. Волосы, рыжие, явно крашенные, завиты толстыми вялыми колбасками. Когда-то элегантная, внушительных размеров лиловая шляпа неприкаянно съехала набекрень, и она все отбивала рукой никнувшую с полей гроздь целлулоидных вишен. Голубое платье было жалкое и потрепанное. И — очень заметно и сладко — от нее веяло джином.

— Не желаете со мной поговорить, а, милоч?

— Я с радостью, — не без интереса откликнулась Кей.

— А то. Неужели. Вот я за что поезда обожаю. В автобусе все молчат как рыбы глупые. А в поезде — выкладывай карты на стол, это я всегда говорю. — Голос был веселый и низкий, сиплый, почти мужской. — Только вот из-за него всегда я тут сажусь; на особицу, как в шикарном вагоне, да?

— Тут очень мило, — согласилась Кей. — Спасибо, что позволили мне к вам присоединиться.

— Я со всем моим удовольствием. Мы ж ни с кем компании не водим, не выходит у нас. Кому, бывает, он и на нервы действует.

Как бы в знак возражения мужчина издал горлом странный, глухой звук и ухватил ее за рукав.

— Не тронь меня, золотко, — сказала она, будто увещевая балованного ребенка. — Я в порядке. Мы тут беседуем по душам. А ты веди хорошо, а то девушка симпатичная от нас уйдет. Она богатая очень; в колледж ходит. — Подмигнула и прибавила: — Он думает, пьяная я.

Мужчина ссутулился на своем сиденье, склонил голову к плечу и внимательно, искоса разглядывал Кей. Глаза у него, две мутные бледно-голубые бусины, были в густых ресницах и странно красивы. Но, кроме некоторой отстраненности, это широкое, голое лицо ровно ничего не выражало. Будто он не может ни испытать, ни выказать ни малейшего чувства. Седые волосы, коротко стриженные, свисали неровной челкой на лоб. Он был похож на каким-то вдруг жутким способом состаренного ребенка. В обтрепанном костюме из синей саржи; надушился каким-то дешевым, дрянным одеколоном. Цевку украшал ремешок грошовых часов.

— Он думает, пьяная я, — повторила женщина. — И самое-то что интересное — пьяная я и есть. Ну да ладно! Надо делать чего-нибудь, да? — Она придвинулась поближе. — Верно я говорю?

Кей все пялилась на мужчину; он так на нее смотрел, что ей стало противно, но она не могла отвести от него взгляд.

— Да, пожалуй, — отозвалась она.

— Значит, надо выпить, — предложила женщина. Запустила руку в клеенчатую сумку, вытащила початую бутылку джина. Стала отвинчивать крышечку, но, спохватившись, отдала бутылку Кей.

— Ой, я ж про компанию забыла, — сказала она, — Пойти стакашки принести.

И не успела Кей возразить, что пить не собирается, та уже поднялась и не слишком твердо направилась по проходу к питьевому фонтанчику.

Кей зевнула, привалилась лбом к стеклу и праздно перебирала пальцами струны: они отзывались пустеньким, баюкающим мотивом, мерно усыпительным, как смазанный тьмой южный пейзаж, пролетающий за окном. Зимняя ледяная луна белым тонким колесом катилась по ночному небу над поездом.

Вдруг, без всякого предупреждения, случилось странное: мужчина протянул руку и легонько погладил Кей по щеке. Несмотря на поразительную нежность этого жеста, Кей растерялась от такой наглости и не знала, что и думать: мысли металась в самых разных, фантастических направлениях. Он наклонялся, наклонялся, покуда странный его взгляд совсем не уперся в ее глаза; одеколон вонял невыносимо; гитара смолкла; они испытующе

смотрели друг на друга. И тут сердце у Кей оборвалось. Просто заболело от жалости; но осталось и отвращение, омерзение даже: что-то в нем, что-то неопределимое, скользкое, напоминало... но о чем?

Погодя он торжественно опустил руку, снова ссутулился на сиденье, идиотская улыбка исказила лицо, будто он ждал аплодисментов после удачного трюка.

— Хе-хе! Хе-хе! Хорошо в степи скакать! — проорала женщина. И она плюхнулась на сиденье, громко объявив: — Ой, башка кружится. Прямо смерть! Как пес усталая! Уф! — из пачки стаканчиков отделила два, остальные небрежно сунула за пазуху. — Целей будут, ха-ха-ха!.. — Тут она страшно закашлялась и, когда приступ прошел, заметно помягчела.

— Ну, как мой кавалер, не заскучала с ним? — спросила она, блаженно себя оглаживая по грудям. — Ух ты, мой сладенький. — Вид у нее был такой, будто вот-вот она лишится чувств. Кей, кстати, против этого бы не возражала.

— Я не хочу пить, — сказала Кей, возвращая бутылку. — Я вообще не пью. Даже запаха не переношу.

— Не порть людям настроение, — твердо сказала женщина. — На-ка. Будь умницей. Держи стакан.

— Нет, прошу вас...

— Да за ради Христа, держи, говорю. Такая молодая — и нервы! Это я — как листок дрожу. Так у меня обстоятельства. А то. Хоссподи, какие обстоятельства.

— Но я же...

Опасная улыбка уродливо перекосила лицо женщины.

— Чего это ты? Или я, по-твоему, недостойная, чтоб со мной выпить?

— Прошу вас, поймите меня правильно, — сказала Кей, и была уже, кажется, дрожь в ее голосе. — Просто я не люблю, когда меня силой заставляют делать то, чего я не хочу. И можно я лучше это отдам господину?

— Ему-то? Нет уж, извиняюсь: ему остатние мозги еще сгодятся. Ладно, милоч, поехали.

Видя, что сопротивление бесполезно, Кей во избежание сцены решила сдаться. Пригубила и содрогнулась. Это оказался кошмарный джин. Глотку обожгло, зашипало глаза. Скорей, пока не смотрела женщина, она все выплеснула в эф гитары. Но мужчина видел; и Кей, заметив, опрометчиво подала ему знак глазами, чтобы ее не выдавал. По пустому ясному лицу нельзя было определить, понял он или нет.

— Ты сама-то откуда будешь, детка? — опять заговорила женщина.

Была отчаянная минута, когда Кей не знала, что ответить. В голову лезли названия сразу нескольких городов. Наконец из этой каши она выудила:

— Из Нового Орлеана. Я в Новом Орлеане живу.

Женщина расплылась.

— Новый Орлеан. Вот бы куда попасть, когда окочурюсь. Было дело, это, в году 1923-м я там на картах гадала, имела свое заведение. Стой-ка... да, на Святого Петра. — Помолчала, нагнулась, сунула на пол пустую бутылку. Сонно стукаясь, бутылка покатила по проходу. — Я сама-то в Техасе произрастала, на большом ранчо — папаша у нас богатый был. Детям все всегда самое лучшее; даже одежда из Парижа, из Франции, вплоть до того. У тебя небось дом шикарный, большой. И сад? И цветы растут?

— Только сирень.

Вошел кондуктор, холодный ветер прогремел впереди него коридорным мусором, встряхнул ненадолго стоялый дух. Кондуктор топал по вагону, останавливался — проштамповать билетик, поболтать с пассажиром. Было за полночь. Где-то ловко играли на гармошке, где-то спорили о достоинствах разных политиков. Крикнул со сна ребенок.

— Может, ты бы поаккуратней была — узнала бы, кто мы есть, — сказала женщина, мотнув жуткой своей головой. — Мы не так себе какие-нибудь, это ты очень ошибаешься.

Кей, нервничая, вскрыла пачку сигарет, закурила. Неужели в поезде, впереди, не найдется свободного места? Она больше ни минуты не могла выносить эту женщину, этого

мужчину. Но она в жизни еще не попадала даже в отдаленно похожую ситуацию.

— А теперь, если вы позволите, — сказала она, — я, кажется, пойду. Мне было очень приятно, но я назначила в поезде свидание подруге.

Почти неуловимо стремительным жестом женщина ее цапнула за руку.

— А тебе мамочка не говорила, что вранье — это грех? — театральным шепотом прошипела она.

Лиловая шляпа слетела, она не стала ее подбирать. Только целкнула языком, облизнулась. И когда Кей встала, она еще крепче ей вцепилась в запястье:

— Садись, садись, милоч... никакой такой нет у тебя подруги... Мы тут только твои друзья и есть, и никуда мы тебя не отпустим.

— Честное слово, зачем мне врать.

— Садись, милоч.

Кей бросила сигарету, мужчина подобрал. И, съжившись в углу, стал сосредоточенно пускать кольца дыма, и они взбирались вверх, как сплюснутые нули, а там вспухали и таяли.

— Неужели ж его ты обидишь, неужели уйдешь от него? А, милоч? — тихонько промурлыкала женщина. — Сядь-ка... сядь... ну вот и умница. А гитара-то у тебя, гитара какая чудесная...

Тут голос ее утонул в ровном свисте и грохоте проносившегося рядом поезда. И на миг у них погас свет; попутные окна мелькали во тьме черным — желтым — черным — желтым — черным — желтым. Сигарета, как светляк, дрожала у мужчины в губах, по-прежнему спокойно всплывали вверх дымные кольца. Отчаянно раскатился гудок.

Когда снова зажегся свет, Кей растирала запястье, где от пальцев женщины остался красный браслет. Она не столько сердилась, сколько недоумевала. Решила попросить кондуктора, чтобы поискал ей свободное место. Но когда он подошел за билетом, с губ у нее слетел только нечленораздельный лепет.

— Что-что, мисс?

— Нет-нет, ничего, — сказала она.

И он ушел.

Трое в закутке, разглядывая друг друга, молчали таинственно, потом женщина сказала:

— Вот я кой-чего тебе покажу, милоч.

Снова она порылась в клеенчатой сумке.

— Поаккуратней небось будешь, как глянешь.

И она протянула Кей афишку, отпечатанную на такой старой пожелтелой бумаге, будто она сохранилась с прошлого пека. Ломкие, чересчур затейливые буквы гласили:

ЛАЗАРЬ
ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ
ЧУДО
Сам убедись.
С взрослых 25 ц. С детей 10 ц.

— Я всегда гимн пою и читаю проповедь, — сказала женщина. — Грустно — жуть: кто аж слезу пустит, больше старичье. И костюм у меня — уж такой нарядный: вуалетка черная, платье черное — ну очень ко мне идет. А у *него* костюм жениховский, на заказ пошитый, — загляденье, и на лицо пудра-пудра наложена. Все — как настоящие похороны, мы стараемся, поняла? Но сейчас народ такой — придут, бывает, франты-умники, для потехи просто — я прям радуюсь иной раз, что убогий он, не то, думаю, обижался бы очень.

Кей сказала:

— Значит, вы в цирке работаете? С интермедией или что-то вроде?

— Не-ет, мы сами собой, — сказала женщина, подбирая упавшую шляпу. — Сколько уж лет выступаем, не счесть, сколько городов видали, по всему югу ездим: Сингапур, Миссисипи — Спанка, Луизиана — Юрика, Алабама... — Названия ровно сыпались с

языка, сливались, как дождь. — А после гимна, после проповеди, мы его и хороним. Вроде как. Богатый такой гроб, по всей крышке звезды серебряные.

— Но ведь он может задохнуться! — изумилась Кей. — И как же долго он остается похороненным?

— Все за все — небось с час — это, ясно, если вабленье не считать.

— Вабленье?

— Ну, обработку. Это мы с вечера делаем. Найдем магазин такой, значит, чтоб большая витрина была и чтоб хозяин его в витрину пустил, ну он и сидит там, сам себя гипнотизирует. Сидит ночь напролет как аршин проглотил, народ ходит, смотрит, пугается очень. — Пока говорила, она ковыряла в ухе пальцем, время от времени вынимала его и разглядывала добытое. — Раз в Миссисипи шериф недоделанный сунулся было...

Дальше пошло несусветное и ненужное. Кей не слушала. С нее и так было довольно; в голове вставали дядины похороны; событие, сказать по правде, не слишком ее впечатлившее: она едва знала дядю. Она рассеянно смотрела на мужчину в углу, и дядино лицо, белое на белой подушке, вставало перед глазами. Разглядывая как бы сразу два лица — это и то, мертвое, она кажется, нащупала сходство: в лице мужчины была та же пугающая, забальзамированная, странная тишина, будто и впрямь он — витринный экспонат, выставленный на обозрение, сам ни на что не глядящий.

— Простите, что вы сказали?

— Я говорю: вот бы дали нам кладбище настоящее. А то выступаешь где ни попада... все по каким-то пустырям, а рядом, уж будьте уверены, вонючая заправка стоит, не больно разгуляешься. И все равно, я говорю, представление у нас исключительное, самое лучшее представление. Ты бы глянула как-нибудь, если получится.

— О, я бы с радостью, — сказала рассеянно Кей.

— О, я бы с радостью, — передразнила женщина. — Да кто тебя звал-то? Звали тебя? — Она задрала подол и смачно высморкалась в край исподней юбки. — Будьте уверены, работенка у нас трудная, денежки нелегко достаются. Знаешь, прошлый месяц сколько мы заработали? Пятьдесят три бакса! Ты попробуй как-нибудь на это повертись. — Шмыгнула носом, с большой важностью подобрала подол. — А ведь когда-нибудь мой мальчоночка так и помрет там за милую душу; да и тогда умник какой-нибудь скажет, что это гипноз.

На этом месте мужчина вынул из кармана нечто вроде тонко отполированной персиковой косточки и стал катать на ладони. Глянув на Кей, удостоверившись в ее внимании, широко распахнул глаза и начал с неуловимой непристойностью тискать и ласкать эту косточку.

Кей нахмурилась:

— Чего он хочет?

— Хочет, чтоб ты купила.

— Но что это такое?

— Амулетка, — сказала женщина. — Приворотка любовная.

Тот, кто играл на гармошке, вдруг перестал играть. Разом проступили другие, более заурадные звуки: чей-то храп, перекачивание пустой бутылки, сонная ругань, дальний рокот колес.

— Разве любовь где дешевле купишь, а, милоч?

— Все это очень мило. То есть очень оригинально. — Кей тянула время. Мужчина тер и гладил косточку о свои брюки. Он грустно, умоляюще наклонил голову и вдруг зажал косточку в зубах и куснул, будто проверял подозрительную монету. — Амулеты мне всегда приносят несчастье. И вообще... пожалуйста, вы не могли бы его попросить, чтобы он перестал?

— Чего переполошилась? — сказала женщина, и голос у нее стал еще скучней. — Он тебя не съест.

— Пусть он перестанет, слышите вы!

— Чего я-то сделаю? — женщина пожала плечами. — Это у тебя денежки, ты богатая. А он и просит доллар всего, один доллар.

Кей зажала сумку под мышкой.

— У меня денег только на дорогу до колледжа, — соврала она, вскочила и шагнула в проход. Постояла, ожидая сцены. Сцены не последовало.

Женщина с деланным безразличием испустила тяжкий вздох и прикрыла глаза; постепенно мужчина успокоился, сунул свой амулет обратно в карман. Его рука подползла по сиденью к руке женщины, нащупала, лениво пожала.

Кей закрыла дверь и вышла на площадку. Снаружи был страшный холод, а она оставила в закутке плащ. Распутала шарф, намотала на голову.

Она никогда тут не ездила, но поезд шел по странно знакомым местам: в тумане, выбеленные злой луной, круто поднимались с обеих сторон стволы, сплошняком, ни прогала, ни просеки. Наверху, в стылой, неприглядной сини, толпились звезды и там и сям погасали. Медленный дым паровоза стлался, как белое, длинное облако. Красная керосиновая лампа на площадке в углу бросала цветистую тень.

Она нашарила сигарету, пыталась зажечь; ветер одну за другой задувал спички, пока не осталась только одна. Кей прошла в угол, к лампе, сложила ладони лодочкой, защищая последнюю спичку. Пламя вспыхнуло, поплевалось, погасло. Она в сердцах отшвырнула сигарету, пустой коробок; напряжение сделалось невыносимым, она стукнула кулаком по стене и заскулила тихонько, как обозленный ребенок.

От холода разболелась голова, хотелось спрятаться в вагонном тепле, спать, спать. Но это было нельзя, во всяком случае не сейчас; и незачем притворяться, будто она не знает, почему это так. Громко, просто чтоб не стучать зубами, а еще — чтоб утешил собственный голос, она сказала: «Мы сейчас в Алабаме, завтра, наверно, будем в Атланте, и мне девятнадцать лет, в августе будет двадцать, я второкурсница...» Она озиралась во тьме, искала знаков рассвета, но натыкалась взглядом на ту же нескончаемую стену тесных стволов, ту же ледяную луну. «Я ненавижу его, он страшный, я его ненавижу...» Она осеклась, устыдилась собственной глупости, и она слишком устала, чтобы признаться себе: она испугалась.

Вдруг, будто что толкнуло ее, она встала перед лампой на колени. Тонкий колпак нагрелся, красный жар протек сквозь ладони, они стали прозрачные. Тепло растопило пальцы, покалывая, побежало к локтям.

Она так сосредоточилась, что не слышала, как открылась дверь. Тук-тук-тук-перестук колес заглушил *его* шаги. Наконец она уловила сигнал тревоги; но прошло еще несколько минут, прежде чем она осмелилась оглянуться.

Он стоял, тихо-безучастный, склонив голову, свесив руки по швам. Глядя в это безобидное, пустое лицо, зардевшееся в свете лампы, Кей вдруг поняла, чего она испугалась: это память, детская память об ужасе, который когда-то давным-давно нависал над ней, как те неотвязные ветки на дереве ночи. Тетки, поварихи, гости — каждый старался вовсю, каждый хотел рассказать сказку, обучить стишкам про смерть, привидения, знамения, духов. И за всем всегда таился злой колдун: далеко не ходи, детка, колдун поймает, живьем съест! Он был везде, колдун, и везде было опасно. Ночью в постели: Ой! Вдруг это он стучит в окно? Тсс!

Ухватившись за поручни, постепенно она поднялась, распрямилась. Мужчина кивал, махал рукой на дверь. Кей глубоко вздохнула, шагнула к нему. Они вместе вошли в вагон.

Вагон укачало собственным грохотом; от одинокой лампы натекало слабое подобие сумерек. Все оцепенело; лишь поезд подрагивал сонно да тихо шуршали мятые газетные листы.

Только женщина сидела — сна ни в одном глазу. Видно было, как она возбуждена: теревит свои кудельки, целлулоидные вишни; ходуном ходят скрещенные у лодыжек пухлые короткие ножки. Она и не взглянула на Кей, когда та садилась. Мужчина устроился, поджав под себя одну ногу, сложив на груди руки.

Как можно небрежней Кей развернула журнал. Она знала, что мужчина на нее смотрит, смотрит в упор, ни на секунду не отводит взгляд: она это знала и боялась себя выдать; хотелось кричать, звать кого-то, разбудить. Но вдруг не услышат? Вдруг они на самом деле не спят? На глаза выступили слезы, увеличивали, размывали печать, пока вся страница не стала большим туманным пятном. Кей резко, с вызовом захлопнула журнал, посмотрела на женщину.

— Я его покупаю, — сказала она. — То есть этот амулет. Я его покупаю, если это все — если вам больше ничего от меня не нужно.

Женщина не ответила. Скучно улыбнулась, повернулась к мужчине.

Кей смотрела, и его лицо будто меняло форму, и отступало, и будто каким-то круглым валуном уходило под воду, вниз. Теплая лень расслабила ее. Что-то она смутно почувствовала, когда женщина отобрала у нее сумку и когда она тихо, как мертвой, накрыла ей голову плащом.

Ястреб без головы

Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. В темноте подкапываются под дома, которые днем они заметили для себя; не знают света. Ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени.

Книга Иова, 24: 13, 16, 17

1

Винсент выключил в галерее свет и вышел. Заперев входную дверь, он огладил поля элегантной летней шляпы и, постукивая тростью зонта по тротуару, направился к Третьей авеню. День еще с рассвета хмурился, обещая пролиться дождем, пелена густых туч скрывала предзакатное солнце; было жарко, влажно, как в тропиках, и голоса, раздававшиеся на серой июльской улице, звучали приглушенно, непривычно, в них слышалось раздражение. Винсенту казалось, что он плывет в морской глубине. Автобусы, пересекавшие город по Пятьдесят седьмой улице, походили на зеленобрюхих рыбин, за стеклами смутно покачивались лица, словно маски на волнах. Он вглядывался в каждого прохожего, ища заветные черты, и вдруг увидел ее, девушку в зеленом дождевике. Она стояла на углу Пятьдесят седьмой улицы и Третьей авеню, просто стояла, покуривая сигарету, и почему-то казалось, что она мурлычет себе под нос. Дождевик был прозрачный. Под ним виднелись широкие темные брюки, белая мужская рубашка, на босых ногах мексиканские сандалии. Золотисто-каштановые волосы подстрижены по-мальчишески коротко. Заметив направившегося к ней Винсента, девушка бросила сигарету и устремилась дальше, в сторону центра, но вдруг метнулась к дверям антикварного магазина.

Винсент замедлил шаг. Вынув платок, промокнул взмокший лоб; если бы только он мог уехать — вот бы двинуть на Кейп-Код, полежать там на солнышке. Беря с лотка вечернюю газету, он обронил монетку. Она покатилась с тротуара и беззвучно провалилась сквозь канализационную решетку.

— Да ладно, приятель, всего-то пятак, — сказал лоточник, потому что Винсент, на самом деле даже не заметивший пропажи, выглядел совершенно убитым.

Подобное теперь случалось частенько: с некоторых пор он не всегда отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг, и, делая шаг, не был уверен, в каком направлении движется — вперед или назад, вверх или вниз. Повесив зонт на руку и уставившись в газетную страницу, — но о чем тут говорится, черт побери? — он небрежной походкой двинулся к центру. Проходившая мимо смуглая женщина с хозяйственной сумкой в руках толкнула его

и, сердито зыркнув, с сердцем выбрала по-итальянски. Однако резкий голос ее, казалось, шел через несколько слоев шерсти. Чем ближе подходил Винсент к антикварному магазину, где поджидала его девушка в зеленом дождевике, тем медленнее шагала, считая про себя: раз, два, три, четыре, пять, шесть; на слове «шесть» он остановился у витрины.

Витрина напоминала угол захламленного чердака; там высилась груда накопившейся за долгую жизнь никому не нужной рухляди: пустые картинные рамы, бледно-лиловый парик, плоские для бритвы в готическом стиле, лампы со стеклярусом. Свисавшая с потолка на шнуре восточная маска неторопливо вращалась под струей воздуха от работавшего в магазине вентилятора. Винсент медленно поднял глаза и в упор посмотрел на девушку. Она все еще топталась в дверях и сквозь двойные стекла витрины казалась волнистым зеленым пятном; над головой прогрохотал поезд надземки, окна задрожали. Очертания девушки расплылись, как отражение в столовом серебре, затем снова приобрели прежнюю четкость; она наблюдала за ним.

Зажав губами сигарету «Олд голд», он попытался нащупать в карманах спички, не нашел и вздохнул. Девушка шагнула к нему. Протянула дешевую маленькую зажигалку; вспыхнул огонек пламени, и на него с пугающей пристальностью уставились ее глаза, светлые, непроницаемые, по-кошачьи зеленые. Они были широко открыты, то ли от удивления, то ли от страха, будто однажды при ней произошло что-то ужасное, и они навсегда остались распахнутыми. На лоб беспорядочно свисали пряди мальчишеской челки, оттеняя детскость и некоторую поэтичность ее узкого лица с впалыми щеками. Такие лица иногда видишь на средневековых портретах юношей.

Выпуская из носу дым, Винсент в очередной раз задался вопросом: на что она живет и где; он знал, что спрашивать об этом бесполезно. Отшвырнув сигарету — курить, вообще говоря, и не хотелось, — он резко повернулся и быстро зашагал под надземкой; уже у тротуара услышал визг тормозов, и тут из его ушей будто выдернуло затычки — звуки города наполнили слух.

— Пошевеливайся, девка, заснула, что ли? — орал таксист, но девушка даже не повернула головы; невозмутимая, как сомнамбула, устремив на Винсента стеклянный взгляд, она двинулась через улицу; Винсент тупо наблюдал за нею. Темнокожий юнец в щегольском лиловом костюме подхватил ее под локоть.

— Вам плохо, мисс? — спросил он, но она не ответила. — Вид у вас очень даже странный. Если вы захворали, я...

Проследив направление ее взгляда, он отпустил ее локоть. Отчего-то у него замерло сердце.

— А, вон оно как, — пробормотал он, обнажив в ухмылке покрытые желтоватым налетом зубы, и двинулся прочь.

А Винсент сосредоточенно зашагал дальше, его зонт, словно посылая тайную шифровку, отстукивал квартал за кварталом. Рубашка пропотела насквозь, кожа начинала зудеть, а в голове гудело от нахлынувших пронзительных городских звуков: у какого-то затейника клаксон выводил «О тебе, моя сторонка», синие искры снопами сыпались с грохочущих рельсов надземки, из высоких дверей бара доносился застарелый пивной дух, пьяный икающий смех и типично американская музыка «А шпоры мои — звяк, бряк, звяк...», производимая музыкальными автоматами светло-лилового цвета. Время от времени он замечал девушку; как-то поймал ее отражение в витрине роскошного магазина морепродуктов «У Поля», где алые омары вольготно раскинулись на бережке, усыпанном слоистым льдом. Она неотступно шла за ним, сунув руки в карманы дождевика. Замигали огни над шатром кинотеатра, и Винсент вспомнил, как она любит кино: фильмы про убийства, страшилки про шпионов, вестерны. Он свернул в переулок, ведущий к Ист-Ривер; здесь было тихо и спокойно, будто в воскресный день: прогуливающийся матрос уплетает эскимо, резвые близняшки прыгают через веревочку, престарелая дама в бархатном капоте, с седыми волосами цвета гардении, отодвигает кружевные занавески и апатично вглядывается в затянутую дождевыми тучами даль — картинка жизни в июльском городе. А позади

Винсента неустанно шлепают сандалии. В светофоре на Второй авеню загорелся красный свет; стоявший на углу продавец кукурузы, бородатый карлик по имени Руби, зазывно завопил: «Горячая кукуруза с маслом, большая порция, берем?» Винсент отрицательно мотнул головой, карлик явно огорчился, а затем, воскликнув «Ага, видал?», сунул совок в освещенный свечкой стеклянный ящик, где обезумевшими мотыльками скакали лопающиеся зерна кукурузы.

— Видал? Девонька-то знает, кукуруза — вещь сытная.

Заплатив десять центов, она получила свою порцию в зеленом пакете, под цвет ее дождевика и глаз.

«Это мой район, моя улица, в доме с воротами я живу». Приходилось напоминать себе об этом, поскольку, лишившись чувства реальности, он был вынужден опираться на временные или пространственные ориентиры. Он с благодарностью смотрел на поблекших неприветливых женщин, на попыхивающих трубками мужчин, что сидели на ступеньках у дверей солидных домов красновато-коричневого песчаника. Девять бледных маленьких девочек с визгом окружили на углу тележку с цветами, выклянчивая маргаритки, чтобы воткнуть себе в волосы, но продавец шуганул их, и они разлетелись во все стороны, закружились по улице, как бусинки с порвавшегося браслета; те, что побойчее, заходились от хохота, другие же, более робкие и оттого молчаливые, разбрелись поодиночке, поднимая к небу привядшие в летней духоте лица: неужто дождик так и не пойдет?

Винсент, живший в полуподвале, сошел по ступенькам вниз и достал ключи; войдя, он замешкался у входной двери и заглянул в глазок. Девушка ждала наверху, на тротуаре; она стояла, прислонясь к каменным перилам крыльца и безвольно свесив руки; вокруг ног ее белым снегом рассыпалась кукуруза. Чумазый малыш, подобрившись поближе, принялся, как бельчонок, подбирать пухлые зерна.

2

Для Винсента это был праздник. За все утро в галерею никто не заглянул, что и немудрено — в такой-то холод. Сидя за столом, он жадно ел мандарины и с наслаждением читал в старом номере «Нью-Йоркера» рассказ Тербера¹. За собственным громким смехом он не услышал, как в галерею вошла девушка, не видел, как она прошла по ковру, вообще не заметил ее, пока не зазвонил телефон.

— Галерея Гарланд, здравствуйте! — Девушка, несомненно, очень странная, несуразная стрижка, отсутствующий взгляд... — А, это ты, Поль? *Somme si, somme sa*², а у тебя? — И одета как чучело: без пальто, в одной шерстяной ковбойке, широких темно-синих брюках, а под ними — смеха ради, что ли? — розовые носки и плоские мексиканские сандалии. — На балет? А кто танцует? Ах, она! — Под мышкой девушка держала плоский сверток, обернутый в газетные листы с комиксами. — Слушай, Поль, я тебе перезвоню, ладно? Тут пришла одна... — Положив трубку, он улыбнулся дежурной приветливой улыбкой и встал. — Слушаю вас.

Ее обветренные губы, как у тяжелого зайки, дрожали от невысказанных слов, глаза вращались в орбитах, словно стеклянные шарики. Все это походило на болезненную застенчивость, свойственную детям.

— У меня картина, — проговорила она. — Вы картины покупаете?

Улыбка застыла на лице Винсента.

— Мы картины выставляем.

— Я сама ее написала, — сказала она невнятно, хриплым голосом, в котором слышался южный акцент. — Эту картину — ее написала я. Одна женщина мне сказала, что здесь в округе есть заведения, которые покупают живопись.

— Да, конечно, — начал Винсент, беспомощно разводя руками, — но дело в том, что мое слово тут ничего не решает. Мистер Гарланд — галерея принадлежит ему,

понимаете? — он сейчас в отъезде.

Немного скособочившись под тяжестью свертка, она стояла посреди огромного роскошного ковра, похожая на жалкую тряпичную куклу.

— Быть может, — заговорил он снова, — быть может, Генри Крюгер на Шестьдесят пятой, чуть дальше по улице...

Но она его не слушала.

— Я сама ее написала, — тихо и упрямо повторила девушка. — По вторникам и четвергам у нас были занятия живописью, я весь год работала. Другие, они только переводили краски и холсты, и мистер Дестронелли... — Внезапно, словно спохватившись, что по неосторожности ляпнула лишнее, она смолкла и закусила губу. Глаза ее сузились. — Он вам случайно не друг?

— Кто? — спросил сбитый с толку Винсент.

— Мистер Дестронелли.

Винсент покачал головой, дивясь про себя, что эксцентричность почему-то неизменно вызывает у него необъяснимое восхищение. То же чувство он еще ребенком испытывал по отношению к ярмарочным уродцам. И по правде говоря, у каждого, кого он в жизни любил, бывала какая-то своя странность. Но вот что удивительно: вызывая у него поначалу тягу к ее обладателю, та же странность в конце концов неизменно разрушает в нем эту тягу.

— Да, мое слово тут ровно ничего не решает, — повторил он, сбрасывая мандариновую кожуру в мусорную корзину, — но, если хотите, я, пожалуй, взгляну на вашу работу.

Молчание; затем, опустившись на колени, она принялась сдирать газетные листы с комиксами. Да это страницы новоорлеанской газеты «Таймс-пикьюн» — отметил про себя Винсент.

— Вы южанка? — спросил он.

Она не подняла глаз, но вся напряглась.

— Нет.

Продолжая улыбаться, он с минуту поколебался, но решил, что будет бестактно разоблачать столь явную ложь. А может быть, она неверно истолковала его вопрос? Внезапно ему остро захотелось коснуться ее головы, потрогать мальчишеский ежик. Сунув руки в карманы, он посмотрел в окно. Февральский мороз расписал его блестящими узорами, а какой-то прохожий процарапал на стекле непотребное слово.

— Вот, — сказала она.

На обшарпанном сундуке с удобством расположилась безголовая фигура в одеянии, напоминающем монашескую рясу; в одной руке она держала коптящую синюю свечу, в другой — крохотную золотую клетку, а у ног фигуры лежала, истекая кровью, отрезанная голова — голова этой самой девушки, только на картине волосы были длинные-предлинные, и белоснежный пушистый котенок с пронзительными огненными глазами игриво трогал лапкой кончики рассыпавшихся прядей, словно моток ниток. На заднем плане раскинул огромные и темные, как ночное небо, крылья ястреб без головы, с алой грудью и медными когтями. Письмо было грубое; резкие, без оттенков и переходов краски наложены с мужской аляповатостью, и, хотя мастерством там и не пахло, была в картине сила, которая нередко ощущается в произведениях глубоко прочувствованных, пусть даже и примитивных по форме. Отчетливый холодок наслаждения пробежал у Винсента по спине — так бывает порой, когда музыкальная фраза вдруг трогает душу, словно он услышал нечто давно знакомое, или же стихотворная строчка открывает ему какие-то тайны в нем самом.

— Мистер Гарланд сейчас во Флориде, — осторожно начал он, — но мне кажется, ему стоит посмотреть вашу картину; не могли бы вы ее оставить, скажем, на недельку?

— У меня было кольцо, я его продала, — произнесла она, как ему почудилось, в гипнотическом трансе. — Красивое кольцо, обручальное — не мое, с надписью. И пальто у меня тоже было. — Она покрутила пуговицу на рубашке, дернула, та отскочила и жемчужным глазом покатила по ковру. — Мне много не нужно — всего пятьдесят долларов; или это чересчур?

— Многовато, — с неожиданной для себя резкостью ответил Винсент. Теперь ему хотелось заполучить ее картину, но не для галереи, а для себя. Бывают произведения искусства, вызывающие больше интереса к творцам, нежели к их творениям, — обычно потому, что в этих работах порою наталкиваешься на то, что всегда казалось лишь твоим личным, глубинным ощущением, и невольно задаешься вопросом: кто он, знающий это про меня, и откуда он это знает? — Даю вам тридцать.

Мгновение она тупо смотрела на него широко открытыми глазами, затем, шумно вдохнув сквозь стиснутые зубы, протянула ладонь. Своей наивной, без малейшего нахальства прямою она застала его врасплох.

— Боюсь, придется послать вам по почте чек, — немного смутившись, произнес он. — Дайте мне, пожалуйста, ваш... — Его прервал телефонный звонок, Винсент направился к аппарату; с протянутой рукой она двинулась за ним, лицо ее исказила гримаса отчаяния. — А, Поль, я тебе перезвоню, ладно? Вот как, ясно, ясно. Ну, погоди минутку. — Приложив трубку к плечу, он пододвинул к девушке блокнот и карандаш. — Напишите-ка свою фамилию и адрес.

В ответ она лишь отрицательно мотнула головой, смутение и тревога, отражавшиеся у нее на лице, нарастали. Наконец она взялась за карандаш, и он ободряюще улыбнулся.

— Извини, Поль... Так у кого вечеринка? Ах, сучка, не пригласила... Эй, куда?! — крикнул он направившейся к выходу девушке. — Пойдите!

В галерею ворвался поток холодного воздуха, задребезжало стекло в хлопнувшей двери. «Алло... алло... алло». Винсент не отвечал; он озадаченно разглядывал странный адрес, печатными буквами выведенный в блокноте: Д. Дж. — Й. У. С. А.3 «Алло... алло... алло».

Она висела у него над камином, та картина, и в бессонные ночи, налив себе виски, он пускался в беседы с безголовым ястребом, рассказывая ему о своей жизни. Я поэт, — говорил Винсент, — который никогда не писал стихов, живописец, не создавший ни единого полотна, любовник, никого беззаветно не любивший, короче, человек, проживающий век без цели и даже без головы. Нет, попытки-то, конечно, бывали, причем все неизменно начиналось замечательно, а кончалось из рук вон плохо. Винсент, белый мужчина тридцати шести лет, выпускник колледжа, — это человек, оказавшийся в открытом море, в пятидесяти милях от берега; жертва, рожденная, чтобы погибнуть — от чужой ли руки или от своей собственной; актер, оставшийся без роли. И все это есть там, на холсте, только выражено бессвязно и нелепо; и кто она, если столько о нем знает? Он наводил справки, но без толку, ни один торговец картинами о ней и не слыхивал, а разыскивать какую-то Д. Дж., которая, надо понимать, живет в Й. У. С. А., было попросту глупо. К тому же Винсент очень надеялся, что девушка явится опять, но вот прошел февраль, затем март. Однажды, когда Винсент пересекал площадь перед отелем «Плаза», с ним случилась странная вещь. Вдоль тротуара стояла вереница старинных двухколесных экипажей, кучера зажигали фонари, и в сгустившихся сумерках свет их играл в трепещущей листве. Один экипаж отъехал от тротуара и покотился во мраке мимо. Там сидел один-единственный пассажир, лица было не разглядеть, но он узнал девушку с коротко стриженными золотисто-каштановыми волосами. Винсент опустился на скамейку и от нечего делать разговорился сначала с солдатом, потом с темнокожим юнцом-педерастом, который сыпал стихами, потом с хозяином таксы, выведшим свою любимицу на прогулку; так коротал он время с типами, каких встречаешь по ночам, но экипаж с тою, кого он поджидал, так и не вернулся. В другой раз он увидел ее, как ему, во всяком случае, показалось, на лестнице, ведущей в метро; на этот раз он потерял ее в выложенных кафелем туннелях, испещренных разноцветными стрелками указателей и уставленных автоматами со жвачкой. Ее лицо словно намертво врезалось в его сознание; он так же не мог отделаться от этого образа, как покойник, в глазах которого, по распространенному поверью, навсегда запечатлевается то, что он увидел, прежде чем отдать Богу душу. Где-то в середине апреля Винсент поехал в Коннектикут погостить недельку у своей замужней сестры; взвинченный, колючий, он был, по ее словам, совсем на себя не

похож.

— Винни, милый, что с тобой? Если тебе нужны деньги...

— Ах, да заткнись ты! — обрезал ее Винсент.

— Не иначе как влюбился, — поддразнил его зять. — Ну-ка, Винни, признавайся, что у тебя там за деваха?

Все это так раздражало Винсента, что ближайшим же поездом он уехал домой. В Нью-Йорке прямо с Центрального вокзала он позвонил им из автомата, намереваясь извиниться, но внутри все ныло от болезненного нервного напряжения, и, не дожидаясь ответа, он повесил трубку. Хотелось хлебнуть чего-нибудь крепкого. Около часа он просидел в баре «Коммодор», выпив четыре «дайкири» подряд, — день был субботний, девять часов вечера, заняться нечем и не с кем, только развлекаться в одиночестве; Винсента снедала жалость к самому себе. Ведь в это время в парке позади публичной библиотеки шепчутся под деревьями влюбленные, тихонько, в тон им, журчат питьевые фонтанчики, а он, Винсент, слегка захмелевший, бродит бесцельно этим прозрачным апрельским вечером, от которого он ожидал столь многого, и не слишком-то отличается от тех стариков, которые вечно сидят на скамейках, с хрипом отхаркивая мокроту.

В деревне весна — это пора скромных, неприметных событий: вот в саду пробилась ростки гиацинтов, вот ивы вдруг охватило серебристо-зеленое облако молодой листвы; все дольше длится день, неспешно перетекая в медленно сгущающиеся сумерки, и под ночным дождем раскрываются грозди сирени; а в городе тем временем оглушительно завывают шарманки, в воздухе висит тяжелый, не развеянный зимним ветром смрад; поднимаются давно не открывавшиеся фрамуги окон, и пронзительный колокольчик уличного разносчика прорезает своим звоном долетающие из комнат обрывки разговоров. Начинается безумие детских воздушных шаров и роликовых коньков, во дворах разливаются местные баритоны, и откуда ни возьмись появляются самые диковинные предприниматели — вроде этого старика с оптической трубой и вывеской: *25 долларов! Вы увидите Луну! Увидите звезды! 25 долларов!* — он выскочил перед Винсентом, как черт из табакерки.

Свет звезд не мог пробиться сквозь зарево городских огней, но луну Винсент увидел — круглое белое, испещренное тенями пятно, а рядом сверкают электрические лампочки: «Четыре Розы, Бинг Кро...4» Он шел сквозь спертый карамельный дух, сквозь океан творожно-бледных лиц, сквозь неоновый свет и полную тьму. Над головой заорал музыкальный автомат, потом забухали ружья, со стуком упала картонная утка мишени, и кто-то торжествующе взвизгнул: «Ага! Знай наших!» Это был бродвейский павильон аттракционов, запруженный субботними гуляками зал игровых автоматов. Винсент посмотрел грошовую короткометражку под названием «Что увидел чистильщик ботинок», узнал свою судьбу у восковой гадалки, хитро косившейся на него из-за стекла: «У вас нежная любящая натура...»; дальше он читать не стал, потому что его внимание привлек шум возле музыкального автомата. Вокруг двух танцоров толпилась молодежь, хлопая в ладоши в такт джазовой мелодии. Танцевали девушки, обе чернокожие. Они то медленно и плавно покачивались, словно двое влюбленных, то вихлялись и притоптывали, сосредоточенно вращая дикарскими глазами, а мышцы их ритмично и синхронно сокращались под журчание кларнета и все более страстную дробь барабана. Оглядывая зрителей, Винсент вдруг заметил ту, кого искал, и острая дрожь пробежала у него по телу: неистовость танца отражалась у нее на лице. Она стояла возле высокого некрасивого парня; казалось, она спит и во сне видит танцующих негритянок. По-лягушечьи гортанный голос чернокожей солистки едва перекрывал трубу, барабан и пианино, слившиеся в оглушительном крещендо перед умопомрачительным финалом. Аплодисменты стихли, танцовщицы отодвинулись друг от друга. Теперь она стояла одна; первым побуждением Винсента было уйти, пока она его не заметила, но он сделал к ней несколько шагов и легонько, словно осторожно будя спящую, тронул за плечо.

— Привет, — сказал он чуть громче, чем нужно.

Она обернулась и уставилась на него совершенно пустыми глазами. Затем во взгляде ее

мелькнул страх, сменившийся замешательством. Она отступила на шаг, но тут снова завопил музыкальный автомат, и Винсент ухватил ее за запястье.

— Ты ведь помнишь меня? Там, в галерее? Ты еще картину принесла.

Она поморгала, потом сонно полуприкрыла глаза, и он почувствовал, что напрягшиеся мышцы медленно расслабляются под его пальцами. Она оказалась более худощавой, но и более красивой, чем ему помнилось; слегка отросшие волосы свисали беспорядочными прядками. На одной болтался аляповатый рождественский бантик.

— Купить тебе чего-нибудь выпить? — предложил было Винсент, но она приникла к нему, по-детски опустив голову ему на грудь, и он сказал: — Пойдешь ко мне?

Она подняла голову; ответ прозвучал как дуновение, еле слышный шелест:

— Пожалуйста.

Винсент разделся, аккуратно повесил вещи и нагишом с удовольствием посмотрелся в зеркальную дверцу шкафа. Он не был так хорош, как представлялось ему самому, но все же несомненно хорош: роста, правда, среднего, зато на редкость пропорционально сложен; волосы темно-золотистые; тонкие черты, слегка вздернутый нос и великолепный здоровый цвет лица. Тишину нарушил звук льющейся воды: она собиралась принять ванну. Он надел просторную фланелевую пижаму, закурил сигарету и спросил:

— Все в порядке?

Журчание воды прекратилось, и после долгой паузы из ванной донеслось:

— Да, спасибо.

В такси, по дороге домой, он попытался завести разговор, но она не произнесла ни слова, даже когда они вошли в квартиру, — это его особенно задело: он почти по-женски гордился своим жилищем и ожидал услышать хоть несколько лестных слов. Квартира состояла из комнаты с невероятно высоким потолком, ванной и крохотной кухоньки, позади дома находился небольшой садик. Обставляя квартиру, Винсент умело сочетал модерн с антиквариатом, и результат получился изысканный. На стенах висели три эстампа Тулуз-Лотрека, вставленная в раму цирковая афиша, картина Д. Дж., фотографии Рильке, Нижинского и Дузе. На письменном столе в подсвечнике горели тонкие синие свечи; в их неверном свете все в комнате казалось зыбким, нечетким. Стеклопанельная дверь вела в сад. Винсент редко заходил туда: навести там порядок было невозможно. В лунном свете темнело несколько давно увядших тюльпанов, хилое деревце айланты и покоробившийся от непогоды старый стул, брошенный прежним жильцом. Винсент шагал взад-вперед по холодным каменным плитам, надеясь, что охвативший его пьяный дурман рассеется в холодном воздухе. По соседству кто-то безбожно терзал пианино, в окне выше этажом виднелось детское лицо. Он мял в руках сорванный стебелек, и тут через двор легла ее длинная тень. Она стояла в дверях.

— Не стоит тебе выходить, — сказал он, направляясь к ней. — Похолодало.

Сейчас в ней появилась трогательная мягкость, она почему-то казалась менее угловатой, более похожей на обычных женщин; Винсент протянул ей стаканчик шерри и восхищенно смотрел, с каким изяществом она подносит его к губам. Она куталась в его махровый халат, чересчур длинный и просторный для нее. На ногах не было ничего, и, сев на диван, она подобрала их под себя.

— При свете свечей похоже на Гласс-Хилл, — улыбаясь, сказала она. — Моя бабушка жила в Гласс-Хилл. Иногда там бывало просто чудесно. Знаешь, что она говорила? Она говорила: «Свечи — это волшебные палочки; стоит зажечь хотя бы одну, и вокруг возникает сказочный мир».

— Занудная, видно, была старуха, — заметил сильно захмелевший Винсент. — Мы, пожалуй, друг друга на дух бы не переносили.

— Ты бабушке очень даже понравился бы, — возразила она. — Ей все мужчины нравились, с кем она ни знакомилась, даже мистер Дестронелли.

— Дестронелли? — Где-то он уже слышал это имя.

Она мгновенно отвела взгляд, словно говоря:

«Нам хитрить ни к чему, уловки не нужны, мы ведь прекрасно понимаем друг друга».

— Да ты же его знаешь. — В голосе ее звучала убежденность, которая при других, более обычных обстоятельствах сильно удивила бы его. Однако тут он словно бы временно утратил способность удивляться. — Его все знают.

Он обнял ее одной рукой и притянул к себе.

— А я вот не знаю, — сказал он, целуя ее рот, шею; она не отзывалась на его ласки. — Не знаком я с мистером Как-его-там, — добавил Винсент, и голос его дрогнул, будто у зеленого юнца.

Просунув руку под халат, он стянул его с ее плеч. Над одной грудью темнела родинка, маленькая, похожая на звездочку. Он бросил взгляд на зеркальную дверь; в мерцающем свете отражения их тел расплывались бледными неотчетливыми пятнами. Она улыбалась.

— Какой он из себя, этот мистер Как-его-там? — продолжал он.

Слабая тень улыбки исчезла, сменившись по-обезьяньи хмурой гримаской. Она смотрела вверх камина на свою картину, и Винсент сообразил, что его гостья впервые проявила к ней внимание; она что-то внимательно разглядывала, но что именно, ястреба или мертвую голову, он понять не мог.

— Знаешь, — тихонько проговорила она, теснее прижимаясь к нему, — он такой же, как ты и я, как любой другой человек.

Шел дождь; в сыром полуденном свете еще горели два огарка, у раскрытого окна уныло колыхались серые шторы. Винсент высвободил руку, онемевшую под тяжестью ее тела. Стараясь не шуметь, соскользнул с кровати, задул свечи, на цыпочках прошел в ванную и ополоснул лицо холодной водой. По дороге на кухню он потянулся, чувствуя давно не испытанное чисто мужское удовольствие от ощущения собственной силы, крепкого здорового тела. Собрав на подносе апельсиновый сок, тосты из хлеба с изюмом и чайник, он неумело, бренча посудой, принес завтрак и опустил на столик рядом с кроватью.

За все это время она даже не шевельнулась; ее взъерошенные волосы веером рассыпались по подушке, рука по-прежнему лежала во вмятине от его головы. Он наклонился и поцеловал ее в губы; бледные до голубизны веки дрогнули.

— Да-да, я не сплю, — пробормотала она, и поднятая порывом ветра завеса дождя опрыскала окно, словно прибой.

Почему-то он твердо знал, что с нею не нужны обычные в таких случаях ухищрения: ни к чему избегать прямого взгляда, не будет стыдливых, неловких пауз. Приподнявшись на локте, она взглянула на него так, почудилось Винсенту, будто он ее муж, и, подавая ей апельсиновый сок, он благодарно улыбнулся.

— Какой сегодня день?

— Воскресенье, — ответил он и, нырнув под одеяло, поставил поднос себе на ноги.

— Что-то не слышно колокольного звона, — заметила она. — Еще и дождь идет.

Винсент разломил кусок поджаренного хлеба.

— Ну и что же, что дождь? Его шум умиротворяет душу.

Он стал разливать чай.

— Тебе сахару положить? А сливок?

Не отвечая на его вопросы, она сказала:

— Какое все-таки сегодня воскресенье? Я имею в виду, какого месяца?

— Где ж ты обитала, в метро, что ли? — усмехнулся он. И поняв, что она спрашивает всерьез, пришел в замешательство. — Ну, апрель стоит, апрель... Числа не помню.

— Апрель... — повторила она. — А я здесь давно?

— Со вчерашнего вечера только.

— А-а.

Винсент помешал чай, ложка колокольчиком звякнула о чашку. Крошки жареного хлеба просыпались на простыни; он подумал, что за дверью его наверняка поджидают

«Трибьюн» и «Таймс», но в это утро, против обыкновения, газеты его не привлекали, гораздо лучше было лежать возле нее в теплой постели, прихлебывая чай и слушая шум дождя. Странно, если вдуматься, очень странно. Она даже не знает его имени, а он — ее.

— Да, я ведь все еще должен тебе тридцать долларов, помнишь? Впрочем, ты сама виновата — такой дурацкий адрес оставила. И еще эти инициалы, Д. Дж., — как прикажешь их понимать?

— Вряд ли стоит сообщать тебе мое имя, — заявила она. — Я же без труда могла придумать какую-нибудь Дороти Джордан или Делайлу Джонсон, верно? Да какое угодно имя могла придумать, но, если б не он, я бы сказала тебе правду.

Винсент опустил поднос на пол. Повернулся на бок, лицом к ней, и сердце его учащенно забилось.

— Кто это «он»?

Хотя лицо ее оставалось невозмутимым, голос чуть охрип от гнева:

— Если ты его не знаешь, тогда объясни, как я здесь очутилась?

В комнате повисло молчание, даже дождь за окном, казалось, на время стих. На реке взвыл пароходный гудок. Прижав ее к себе, он пригладил пальцами ее волосы.

— Потому что я тебя люблю, — сказал он, изо всех сил надеясь, что она ему поверит.

Она закрыла глаза.

— А с ними что стало?

— С кем?

— С другими, кому ты говорил то же самое.

В окно снова уныло забарабанил дождь, поливая по-воскресному тихие улицы; Винсент слушал и вспоминал. Он вспомнил свою двоюродную сестру Люсиль, несчастную красивую глупышку Люсиль, которая целыми днями вышивала шелком цветы на льняных лоскутах. Потом Аллена Т. Бейкера и ту весну, что они провели в Гаване; вспомнил дом, где они жили, стены из рыхлого розового камня; бедняга Аллен, он-то думал, что так будет всегда. И Гордона вспомнил. Гордон: шапка золотистых курчавых волос, неиссякаемый запас старинных баллад елизаветинской эпохи. Неужто правда, что он застрелился? А Конни Силвер, та глухая девушка, которая мечтала стать актрисой, — что случилось с ней? И с Хелен, с Луизой, с Лорой?

— Я это говорил всего одной, — вполне искренно, как ему самому показалось, произнес он. — Одной-единственной, и она уже умерла.

Нежно, будто утешая, она коснулась его щеки.

— Наверно, он ее убил, — сказала она; глаза ее были так близко, что в зелени ее радужки он увидел очертания своего лица. — Убил мисс Холл, понимаешь? Мисс Холл — лучшую женщину на свете и такую хорошенькую, что дух захватывало. Я училась у нее музыке, и, когда она играла на пианино, когда здоровалась или прощалась — у меня просто сердце останавливалось. — Голос ее звучал бесстрастно, будто она говорила о чем-то из другой эпохи, что не имело к ней прямого отношения. — Она вышла за него в конце лета, по-моему в сентябре. Уехала в Атланту, там они поженились, и она уже больше не вернулась. Вот так, неожиданно-негаданно. — Она щелкнула пальцами. — Раз, и все. Я видела в газете его фотографию. Порой мне кажется, что, если б она знала, как сильно я ее люблю, — почему это некоторым людям невозможно сказать о своих чувствах? — она, может, и не вышла бы за него; может, все пошло бы по-другому, так, как хотелось мне.

Она уткнулась лицом в подушку; если она и плакала, то совершенно беззвучно.

Двадцатого мая ей исполнялось восемнадцать; это казалось невероятным, Винсент был уверен, что она гораздо старше. Он хотел было устроить ей сюрпризом день рождения и познакомить с друзьями, но в конце концов понял, что это не лучшая затея. Начать хотя бы с того, что за все это время он никому из друзей ни словечком не обмолвился про Д. Дж., хотя язык у него так и чесался; во-вторых, он ясно представил себе, как будут зубоскалить его приятели, познакомившись с девушкой, которая открыто живет с ним, но о которой он, Винсент, не знает ничего, даже имени, и охота устраивать вечеринку быстро пропала.

Однако нужно же было доставить ей в день рождения хоть какое-то удовольствие. Обед в ресторане или поход в театр отпадали. У нее не было ни одного приличного платья, но уж в этом-то он не повинен. Он дал ей как-то сорок с лишним долларов на одежду, и вот что она купила: легкую кожаную куртку, солдатский набор щеток, плащ, зажигалку. А в чемодане, который она перевезла к нему на квартиру, не было ничего, кроме кусочка гостиничного мыла, ножниц, которыми она подстригала волосы, двух библий и жуткой цветной фотографии. С фотографии жеманно улыбалась дебелая женщина средних лет. Внизу было написано: «Желаю всяческого счастья. Марта Лавджой Холл».

Поскольку готовить она не умела, они ходили есть в кафе; его небольшое жалованье и ее более чем скромный гардероб вынуждали их довольствоваться либо кафе-автоматом (нежно ею любимым: какая вкуснота эти макароны!), либо каким-нибудь гриль-баром на Третьей авеню. А потому и в день ее рождения они отправились ужинать в кафе-автомат. Перед этим она до красноты отдраила лицо, подровняла волосы и вымыла голову, затем, перемазавшись, как шестилетка, играющая по взрослому даму, накрасила ногти. Надев кожаную куртку, приколола на лацкан подаренный Винсентом букетик фиалок; наверное, все это выглядело забавно, и две вульгарные девицы, сидевшие за их столиком, безудержно хихикали. Винсент пригрозил, что если они не заткнутся...

— Подумаешь, да кто ты такой?

— Супермен. Этот олух уверен, что он супермен.

Это было уже слишком, и у Винсента лопнуло терпение. Опрокинув банку с кетчупом, он резко отодвинулся от стола.

— Ну их к черту, пошли отсюда, — сказал он, но Д. Дж., не обратившая на перебранку ни малейшего внимания, спокойно продолжала подбирать ложечкой пирог с ежевикой; хотя Винсент был в ярости, он молча ждал, пока она доест; он с уважением относился к ее отстраненности от повседневной жизни, но невольно спрашивал себя, в каком временном периоде она внутренне пребывает. Он уже понял, что пытаться ее о прошлом бесполезно; при этом настоящее она воспринимала лишь изредка, а будущее навряд ли имело для нее какой-то смысл. Рассудок ее напоминал зеркало, в котором отражается голубоватое пространство совершенно пустой комнаты.

— Чего тебе хочется теперь? — спросил он, когда они вышли на улицу. — Можно взять экипаж и проехаться по парку.

Рукавом куртки она утерла рот — в уголках губ еще темнели следы ежевичного варенья.

— Хочу в кино.

Кино. Опять кино. За последний месяц он посмотрел столько фильмов, что даже во сне в его ушах настырно звучали обрывки голливудских диалогов. Как-то в субботу по ее настоянию они купили билеты сразу в три кинотеатра — на дешевые места, где из сортира несло дезинфекцией. И каждое утро, отправляясь на работу, он оставлял ей на каминной полке пятьдесят центов; в любую погоду она шла в кино. Как человек чуткий, Винсент догадывался о причинах; в свое время он тоже пережил период полной неприкаянности, когда он ежедневно ходил в кино и частенько даже просиживал на одном фильме несколько сеансов подряд; в какой-то степени это напоминало религиозный ритуал: сидя в зале и глядя на экран, где сменяли друг друга черно-белые образы, он испытывал моральное облегчение, напоминавшее, видимо, то, что переживает человек на исповеди.

— Наручники, — произнесла она, имея в виду эпизод из «Тридцати девяти ступеней», — незадолго до того они посмотрели эту картину в «Беверли», где шла ретроспектива фильмов Хичкока. — Блондинка, скованная наручниками с тем мужчиной, — это навело меня на одну мысль. — Она сунула ноги в его пижамные штаны, приколола букетик фиалок к уголку своей подушки, легла и свернулась калачиком. — Люди, сцепленные друг с другом, легко попадают в ловушку.

Винсент громко зевнул и выключил свет.

— Еще раз — с днем рождения, милая, надеюсь, праздник удался?

— Однажды я была в одном месте, и там танцевали две девушки, — сказала она. — Они были такие свободные — словно вокруг вообще больше ни души, это было прекрасно, как закат солнца. — Она долго молчала; потом, по-южному растягивая слова, проговорила: — Очень даже мило, что ты купил мне фиалок.

— Рад... что понравились, — сонно отозвался он.

— Как жаль, что они умрут.

— Ага; ну, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Крупный план. «Ах Джон дело ведь совсем не во мне надо же подумать о наших детях в конце концов развод их погубит!» Затемнение. Трепещет экран; барабанная дробь, фанфары: «Р. К. О. представляет...»

Зал, из которого нет выхода, туннель, у которого нет конца. Над головой сверкают люстры, в воздушных потоках плывут свечи, их пламя изгибается под порывом ветра. Перед Винсентом в кресле-качалке покачивается старик с крашеными золотистыми волосами, напудренными щеками и кукольным ротиком: Винсент узнает Винсента. Уходи! — пронзительно кричит Винсент, молодой и красивый, но другой Винсент, старый и мерзкий, ползет на четвереньках вперед и, как наугад, взбирается ему на спину. Угрозы, мольбы, удары не действуют, его не сбросить. И вот он мчится, неся собственную тень, и седок подпрыгивает у него на спине. Ярко блещет зигзаг молнии, и туннель внезапно заполняется мужчинами во фраках и белых «бабочках», женщинами в парчовых вечерних платьях. Винсент чувствует себя униженным; вот уж вахлак так вахлак, наверняка думают окружающие, — явился в такое изысканное общество с омерзительным старикашкой на спине, словно Синдбад-мореход. Собравшиеся застыли попарно, никто не произносит ни слова. Винсент замечает, что многих тоже оседлали злобного вида двойники, зримое воплощение внутреннего распада. Рядом с ним похожий на ящерицу человек едет верхом на негре с бесцветными глазами альбиноса. Но вот к Винсенту направляется хозяин бала; коренастый, багроволицый, лысый, он ступает легко и ровно в своих шевровых туфлях; на согнутой в локте напряженной руке его сидит массивный ястреб без головы, под вцепившимися в запястье когтями выступает кровь. И чем дальше шествует хозяин, тем шире раскрываются крылья ястреба. На тумбе возвышается старинный граммофон. Покрутив ручку, хозяин ставит пластинку; в такт заигранным жестяным звукам вальса качается раструб, похожий на цветок вьюнка. Хозяин поднимает руку и пронзительным дискантом возглашает: «Внимание! Открываем бал!» Хозяин с ястребом петляют между парами, которые, покачиваясь, кружатся, кружатся... Стены раздвигаются, потолок уходит ввысь. Незаметно в объятиях Винсента оказывается девушка, и он с ужасом слышит надтреснутый голос, пародию на его собственный: «Люсиль, ты выглядишь дивно; и этот изысканный аромат — фиалки, да?» Перед ним кухня Люсиль, но, пока они кружатся по залу, ее лицо меняется. Теперь он вальсирует с другой. «Ба, Конни, Конни Силвер! Как отрадно видеть тебя!» — верещит тот же голос, но Конни абсолютно глуха. Между ними вдруг вклинивается господин с пробитым пулей черепом: «Гордон, прости меня. Я не хотел...», но их обоих и след простыл, Гордон уже вальсирует с Конни. А вот и новая партнерша. Это Д. Дж., у нее к спине тоже прочно прилипла фигурка, очаровательная девочка с золотисто-каштановыми волосами; девочка нежно прижимает к груди белоснежного котенка, будто символ невинности. «Я тяжелее, чем кажусь», — произносит дитя, а жуткий голос скрипит в ответ: «Я — тяжелее всех». В тот миг, когда их руки встречаются, Винсент чувствует, что его бремя становится легче: его старый двойник исчезает. Тут ноги Винсента отрываются от пола, он взмывает вверх из ее объятий. Музыка гремит по-прежнему, но он летит все выше, и все дальше внизу белеют лица, словно грибы на темном лугу.

Подбросив ястреба ввысь, хозяин пускает его в полет. Ничего, думает Винсент, птица слепа, а среди слепых грешникам ничто не грозит. Но ястреб кружит над его головой, затем, выставив когти, падает прямо на него; и Винсент наконец понимает, что воли ему не видать.

Его глазам предстала лишь заполнившая комнату тьма. Одна рука свесилась с кровати, подушка упала на пол. Он инстинктивно протянул руку, ища у лежащей рядом девушки материнского утешения. Гладкие холодные простыни; пустота и бьющий в нос запах увядающих фиалок. Винсент рывком сел на кровати.

— Эй, ты где?

Двустворчатая дверь распахнута. Еще не рассвело, и на пороге слабо поблескивает пепельный лунный блик, в кухне, словно исполинский кот, урчит холодильник. На столе шелестит стопка бумаг. Винсент снова окликнул ее, но тише, будто не хотел, чтобы его услышали. Встал и на неверных ногах заковылял к двери, выглянул во дворик. Она стояла там чуть ли не на коленях, привалившись к айланту.

— Что с тобой?

Она резко обернулась. Он едва мог разглядеть ее, вернее, различал лишь большое темное пятно ее фигуры. Она подошла ближе. К губам прижат палец.

— Что это значит? — прошептал он.

Она стала на цыпочки, ее дыхание щекотало ему ухо:

— Предупреждаю тебя, лучше ступай в дом.

— Не глупи, — сказал он обычным голосом. — Выскочила босиком, ты же просту...

Но она зажала ему рот ладошкой.

— Я его видела, — шепнула она. — Он здесь.

Винсент отбросил ее ладонь. Его так и подмывало стукнуть ее хорошенько, он едва удержался.

— Он! Он! Он! Да что с тобой такое? Уж ты не... — слово вырвалось помимо его воли: — спятила ли?

Ну вот, названо вслух то, что он давно подозревал, но не позволял себе осознать. А что это, собственно, меняет? — подумал он. Нельзя же требовать от человека ответа за тех, кого он любит. Неправда. Придурковатая Люсиль, расцвечивавшая шелковые лоскуты пестрыми узорами, вышивавшая на шарфах его имя; глухая Конни, в своем мирке полного безмолвия старавшаяся уловить его шаги — их она неизменно различала; Аллен Т. Бейкер, поглаживавший его фотографию, по-прежнему, уже старый и забытый, жаждавший любви, — всех он предал. Он и себя предал: не использовал дарованных ему талантов, не пустился в странствия, не выполнил обещаний. И ему уже ничего не оставалось, пока он не... Почему, ну почему в своих возлюбленных он неизбежно обнаруживает осколки собственного образа? И теперь, когда он глядит на нее в безжалостных лучах рассвета, сердце у него леденеет — ведь любовь умерла.

Отодвинувшись от него, она шагнула под дерево.

— Оставь меня здесь, — произнесла она, пробегая глазами по окнам квартир. — Только на минуточку.

Винсент все ждал и ждал. Со всех сторон во двор смотрели окна, похожие на двери в царство снов, а над головой, четырьмя этажами выше, хлопало на веревке семейное белье. Смутно белел, истаивая, круг заходящей луны, как бывает в ранних сумерках; тьма отступала, и небо постепенно серело. Рассветный ветерок трепал листья айланта, и в неясном предутреннем свете двор начал приобретать очертания, предметы занимали свои места, а с крыш послышалось гортанное воркованье голубей. В одном окне вспыхнул свет. Потом в другом.

Наконец она опустила голову; если она искала что-либо, то явно не нашла. А может, подумал он, когда она повернула к нему лицо с искривившимися губами, может, нашла все-таки?

— А, мистер Уотерс, сегодня вы раненько вернулись. — Это была миссис Бреннан, кривоногая жена управляющего домами. — А погодка-то хороша, верно, мистер Уотерс? Нам с вами надо кое-что обсудить.

— Миссис Бреннан... — До чего же трудно дышать, разговаривать; слова царапают саднящее горло, гремят громовыми раскатами. — Я очень нездоров, а потому, если не возражаете...

Он попытался прошмыгнуть мимо нее.

— Да что вы? Вот беда-то. Пищевое отравление, не иначе. Уж я вам, сэр, точно говорю, осторожность тут первое дело. Сами понимаете, это всё они, евреи. Магазины кулинарии и полуфабрикатов ведь в их руках. Но меня не проведешь, я эту еврейскую стряпню в рот не беру. — Став перед воротами, она загородила Винсенту дорогу и укоряюще ткнула в него пальцем. — А ваша беда в том, мистер Уотерс, что живете вы страх до чего неправильно.

Где-то в глубинах мозга угнездился источник боли, словно несущий пагубу бриллиант; каждое движение причиняло муку, а острые грани камня вспыхивали цветными огнями. Жена управляющего продолжала молоть свое, но Винсент то и дело отключался и тогда, к счастью, не слышал ничего. Это напоминало радио: то звук убирают, то пускают на полную мощность.

— Я, конечно же, понимаю, мистер Уотерс, она — достойная христианка, иначе приличный господин, вроде вас, и не стал бы якшаться с... гм... И все же, мистер Купер ведь врать не станет, да и человек он совсем не склочный. С незапамятных времен работает в нашем районе газовым инспектором. — По улице, разбрызгивая воду, проехала поливальная машина; голос миссис Бреннан, потонувший было в ее реве, вдруг снова акулой всплыл на поверхность. — У мистера Купера есть все основания считать, что она хотела его убить... Представляете, наставила на него ножницы и орет благам матом. И еще обзывает его каким-то заморским именем, тальянским, что ли. Да на мистера Купера стоит только взглянуть, и всякому видно: никакой он не тальянец. Вы же понимаете, мистер Уотерс, после таких выходов про дом бесприменно пойдет дурная...

От колючего солнечного света, проникавшего в самые глубины его глаз, наворачиваются слезы, и фигура миссис Бреннан, грозящей ему пальцем, словно рассыпается на отдельные кусочки: нос, подбородок, кроваво-красный глаз.

— Мистер Дестронелли, — произнес Винсент. — Извините, миссис Бреннан. То есть, я хочу сказать, простите меня. — Она думает, я пьян, а я болен, неужели она не видит, что я болен? — Моя гостыя уезжает. Сегодня уедет и больше не вернется.

— Вон оно как, ну надо же, — поцокав языком, отозвалась миссис Бреннан. — Ясное дело, ей, бедняжке, нужно отдохнуть. Бледная она до ужаса. А с этими тальянцами я никаких дел иметь не желаю, да и не я одна. Мистер Купер — тальянец! Надо же такое придумать! Как вам это нравится? Да он такой же белый человек, как мы с вами. — Она ласково похлопала Винсента по плечу. — Жаль, что вы так разболелись, мистер Уотерс; отравление, я вам точно говорю. Осторожность тут первое...

В прихожей пахло готовкой и золой из мусоросжигателя. Наверх шла лестница, по которой он никогда не ходил, потому что жил внизу, дверь прямо напротив входа. Вспыхнула спичка, и шедший наощупь Винсент увидел маленького мальчика, лет трех-четырёх, не более, — тот сидел на корточках под лестницей и играл большим коробком спичек, появление Винсента его, судя по всему, не заинтересовало. Он чиркнул очередной спичкой. Мозг Винсента вышел из подчинения, и Винсент никак не мог внятно выговорить мальчишке за эти опасные шалости; пока он стоял, подбирая слова, одна дверь — в его комнату — приоткрылась.

Спрятаться. Ведь если она его увидит, то сразу все поймет, сразу заподозрит неладное. А если заговорит, если их взгляды встретятся, он вообще не сможет выполнить задуманное. Поэтому он вжался в темный угол позади ребенка, и тот спросил:

— А чего это вы делаете, мистер?

Она приближалась: он слышал, как шлепают ее сандалии, как шелестит плащ.

— А чего это вы делаете, мистер?

Сердце Винсента бешено колотилось; он стремительно наклонился и, притиснув мальчишку к себе, зажал ему рот рукой, чтобы тот и не пикнул. Он не видел, как она прошла

мимо; только потом, когда щелкнула входная дверь, понял, что она ушла. Малыш опустился на пол.

— А чего это вы делаете, мистер?

Четыре таблетки аспирина подряд, и он вернулся в свою комнату; постель уже неделю стояла неубранной, пепел и окурки из переполненной пепельницы высыпались на пол, разнообразные предметы одежды украшали собой самые неподходящие места — например, абажуры. Но завтра, если он почувствует себя лучше, будет генеральная уборка; возможно, он даже попросит заново покрасить стены, быть может, наведет порядок в саду. Завтра снова вспомнит о друзьях, начнет принимать приглашения, звать к себе гостей. Однако, строя эти планы, он ощущал их пресность: прошлая жизнь теперь казалась ему серой и фальшивой. Шага в прихожей; неужели она вернулась? Так рано? Значит, фильм кончился, день клонится к вечеру? Если у тебя высокая температура, время идет странно, по-особому. На мгновение Винсенту показалось, что кости его свободно болтаются внутри тела. Шлеп-шлеп, неровная поступь ребенка, поднимающегося по лестнице; Винсент шевельнулся и подплыл к зеркальному шкафу. Понимая, что это необходимо, он стремился двигаться побыстрее, но воздух, казалось, был напоен какой-то вязкой жидкостью. Винсент вытащил из шкафа ее чемодан, положил на кровать — жалкий дешевый чемоданишко с ржавыми замками и покоробившейся кожей. Он виновато разглядывал его. Куда она пойдет? Как будет жить? Когда он рвал с Конни, Гордоном, со всеми друзьями, это по крайней мере происходило достойно. Впрочем, сейчас — и он уже ведь все это продумал — другого выхода нет. Он собрал ее пожитки. Мисс Марта Лавджой Холл выглядывала из-под кожаной куртки, на ее лице — лице учительницы музыки — играла улыбка, в которой смутно чувствовался упрек! Винсент перевернул ее лицом вниз, сзади в рамку сунул конверт с двадцатью долларами. Этого хватит на билет до Гласс-Хилл или откуда там она приехала. Он попытался закрыть чемодан и, ослабев от жара, рухнул на кровать. В окно впорхнули желтые крылышки. Бабочка. Он никогда не видел в этом городе бабочки; она была похожа на таинственный, плывущий по воздуху цветок, на какой-то знак свыше, и он с некоторым страхом наблюдал, как она кружится в воздухе. Где-то на улице назойливо завывала шарманка, звук ее напоминал разбитую пианолу; она играла «Марсельезу». Бабочка опустилась на картину, проползла по сверкающим глазам котенка и аккуратным бантом разложила крылышки над отрезанной головой. Порывшись в чемодане, Винсент нашел ножницы. Сначала он вознамерился располосовать ей крылья, но бабочка по спирали упорхнула к потолку и повисла там, как звездочка. Ножницы вонзились в сердце ястреба, разодрали холст, словно ненасытная стальная пасть; клочья картины, будто пряди жестких волос, усыпали пол. Винсент опустился на колени, сгреб обрезки в кучу, ссыпал в чемодан и захлопнул крышку. Он плакал, и сквозь его слезы бабочка на потолке росла, разбухала, становилась величиною с птицу, да не одну: там желтела, ритмично подрагивая и подмигивая, целая стая; слышался тоскливый шепот, как шорох облизывающей берег волны. Поднятый их крыльями ветер вынес комнату в открытое пространство. Винсент с усилием поднял чемодан и двинулся вперед; чемодан бил его по ногам, но он все же распахнул дверь. Вспыхнула спичка.

— А чего это вы делаете, мистер? — произнес мальчик.

Поставив чемодан в прихожей, Винсент робко улыбнулся. Воровато прикрыл дверь, запер на замок и, подтащив стул, упер его спинкой в ручку. В тишине комнаты остались только неуловимо перемещающийся солнечный свет и ползающая бабочка; словно цветной бумажный клочок затейливой формы, она слетела вниз и уселась на подсвечник.

— *Временами он вообще не человек,* — сказала девушка Винсенту в предрассветные минуты; говорила она быстро, сжавшись на кровати в комок, — *временами он становится чем-то совсем другим: ястребом, ребенком, бабочкой.* А потом добавила: — *Там, куда меня привезли, были сотни старух и молодых людей; один юноша говорил, что он пират, а одна старуха — ей было лет девяносто — заставляла меня щупать ей живот. «Чувствуешь?» — все спрашивала она, — «Чувствуешь, с какой силой он толкается?» Эта старуха тоже ходила на уроки живописи, и ее картины были похожи на лоскутные одеяла. Конечно же, он*

там был тоже. Мистер Дестронелли. Только называл он себя Гам. Доктор Гам. Но меня-то не проведешь; хотя он ходил в седом парике и в специальном гриме, чтобы выглядеть стареньким и добрым, я все поняла. А однажды я сбежала, просто-напросто удрала оттуда, спряталась под кустом сирени, и тут подъехал мужчина в маленькой красной машине, у него были маленькие мышиного цвета усики и маленькие жестокие глазки. Но это тоже был он. И когда я сказала ему, кто он, он высадил меня из машины. А другой, уже в Филадельфии, познакомился со мной в кафе и увел в какой-то переулок. Он разговаривал по-итальянски и был весь покрыт татуировкой. Но это был он же. И третий — у него еще ногти на ногах были маникюрены, — сел рядом в кино, приняв меня за мальчика, и потом, когда выяснил, что я не мальчик, не разозлился, а позволил жить в своей комнате и готовил для меня разные красивые блюда. Он носил серебряный медальон, и я как-то заглянула в него, а там фотография мисс Холл. Вот я и поняла, что это тоже он, и поняла, что она умерла, и поняла, что он хочет меня убить. И убьет. Убьет.

Сумерки, вечерний мрак и звуковое волокно под названием тишина сплелись в лоснящуюся синюю маску. Проснувшись, он глянул сквозь щелочки век, услышал лихорадочное тиканье часов, тихое царапанье ключа в замке. Где-то в этих сумерках убийца отделяется от тени и с веревкой в руке поднимается по проклятой лестнице вслед за ногами в поблескивающих шелковых чулках. А здесь, глядя сквозь маску, мечтатель мечтает об обмане. Нет нужды проверять, он знает, что чемодана уже нет, что она приходила и ушла; почему же тогда он почти не испытывает радости от сознания своей безопасности, отчего ему кажется только, что его ловко провели, что он маленький, такой же, как в тот вечер, когда он рассматривал луну в телескоп старика?

3

Словно обрывки старого письма, на полу валялась расплюснутая ногами жареная кукуруза, а девушка, слегка откинув плечи, как впередсмотрящий, шарила по ней глазами, будто пыталась найти там заветное слово, ответ на загадку. Взгляд ее осторожно скользнул на поднимающегося по лестнице человека, на Винсента. От него веяло свежестью: душ, бритье, одеколон; однако под глазами лежали мрачные синие круги, а легкий, с иголки костюм в рубчик, который он только что надел, предназначался для мужчины покрупнее: долгий месяц борьбы с воспалением легких и бессонные от жара ночи уменьшили его вес фунтов на двенадцать, а то и больше. Каждое утро, каждый вечер, когда он встречает ее здесь, у ворот своего дома, или неподалеку от галереи, или возле ресторанчика, где он обедает, возникает неопикуемый сумбур, паралич времени и сознания. Сердце сжимается от безмолвного зрелища ее погони за ним, в отдельные дни он бывает в полукоматозном состоянии и тогда видит не ее одну, а в ней всех сразу, и на улице ее тень, преследующая и преследуемая, становится всеобщей тенью. Однажды они оказались вдвоем в лифте, и он крикнул:

— Я не он! Это я, только я!

Но она усмехнулась, как усмежалась, рассказывая о том знакомце с крашеными ногтями ног, — потому что она все поняла.

Пора было ужинать, и он, не зная, куда пойти поесть, остановился под фонарем, который вдруг ярко расцвел, развернув на мостовой и каменных зданиях круг света разных оттенков; пока Винсент стоял в ожидании, послышался раскат грома, и все лица, кроме двух, его и девушки, обратились к небу. Порывистый ветер с реки швырял вдоль улицы взрывы детского смеха — взявшись за руки, ребяташки скакали, как карусельные лошадки, — и голос мамы, которая, свесившись из окна, взывала: «Дождик, Рейчел, дождик! Сейчас хлынет!» Полная гладиолусов и плюща тележка резко дернулась — торговец цветами, косясь одним глазом на небо, спешил укрыться от ливня. Горшок с геранью упал на мостовую; девушки подобрали цветки и заткнули себе за уши. Топот бегущих ног и дробь дождевых

капель звенели на ксилофоне тротуаров; захлопали двери, закрылись окна, а потом — ничего, только тишина и дождь. Вскоре она неспешно, шаркая ногами, подошла и стала рядом с Винсентом под фонарем, и небо словно превратилось в треснувшее от грома зеркало, — дождь пал между ними, как завеса из стеклянных осколков.

Закрой последнюю дверь

перевод В. Бабкова

— Послушай меня, Уолтер; если никто тебя не любит, если все стараются тебе досадить, не думай, что это случайно: ты сам во всем виноват.

Это сказала Анна, и хотя более здоровая часть его природы говорила ему, что она не имела дурных намерений (уж если Анна ему не друг, тогда кто же?), он обиделся на нее и стал говорить всем подряд, как он ее презирает, какая она подлая; ну и баба... говорил он, не доверяйте этой Анне: ее хваленое прямодушие просто-напросто маскирует внутреннюю враждебность; кроме того, она жуткая врунья, ни одному ее слову нельзя верить; страшное существо, ей-богу! И конечно, все, что он наболтал, вернулось обратно к Анне, поэтому, когда он позвонил ей насчет премьеры, куда они собирались пойти вместе, она сказала ему: «Извини, Уолтер, я вынуждена с тобой расстаться; я очень хорошо тебя понимаю и даже отчасти сочувствую: твое мерзкое поведение от тебя не зависит, тебя и ругать-то почти не за что, но я не хочу больше с тобой видаться, потому что сама не настолько хороша, чтобы все это сносить». Но почему? и что он такого сделал? Ну да, он сплетничал про нее, но ведь не со зла же, да и вообще, как он сказал Джимми Бергману (вот вам, кстати, — настоящий двуличный тип), зачем человеку иметь друзей, если ему нельзя обсуждать их в открытую?

Он сказал ты сказала они сказали и снова и снова. Всё ходит по кругу, как лопасти этого вентилятора на потолке; он крутился и крутился, почти не тревожа затхлого воздуха, и издавал звук, похожий на тиканье часов, отсчитывал секунды в тишине. Уолтер переполз на более прохладную сторону кровати и смежил глаза, чтобы не видеть маленькой темной комнаты. Он приехал в Новый Орлеан сегодня в семь вечера, а в полвосьмого снял номер в этой гостинице на крохотной безымянной улочке. Стоял август, в красном ночном небе словно горели фейерверки, и неестественный южный ландшафт, так внимательно изученный из окна поезда, — он опять вспоминал его, чтобы подавить все остальное, — усиливал ощущение конца дороги, непоправимого краха.

Но почему он очутился здесь, в этой душной гостинице, в этом далеком городе, он не мог бы сказать. В номере было окно, но ему вряд ли удалось бы открыть его, а звать коридорного он боялся (какие странные глаза у этого парня!) и уходить из гостиницы боялся, потому что вдруг он заплутает? а если он заплутает, даже чуть-чуть, то уж пропадет совсем. Он был голоден; не ел с самого завтрака, и теперь, найдя несколько крекеров с арахисовым маслом (в Саратоге он купил целую коробку), запил их последним глотком лимонада. Накатила тошнота; его вырвало в мусорную корзину, потом он снова заполз на кровать и плакал, пока не промокла подушка. А дальше просто лежал, содрогаюсь в жаркой комнате, и смотрел, как медленно крутится вентилятор; у этого движения не было ни начала ни конца; это был круг.

Глаз, земля, древесные кольца — все это круги, а у каждого круга, сказал себе Уолтер, есть центр. Анна, наверно, с ума сошла — сказать, что он сам всему виной! Если с ним и правда что-то неладно, то в этом виноваты обстоятельства, которые вне его власти; виновата, к примеру, его набожная мать, или отец, страховой чиновник из Хартфорда, или его старшая сестра Сесил, вышедшая замуж за человека на сорок лет ее старше: «Я просто хотела вырваться из этого дома» — таким было ее объяснение, и, честно сказать, Уолтер считал его вполне разумным.

Но он не знал, откуда начинать думать о самом себе, не знал, где искать центр. Первый

телефонный звонок? Нет, это случилось всего три дня назад и было, по сути дела, концом, а не началом.

Что ж, можно было начать с Ирвинга, поскольку Ирвинг был первым, с кем он познакомился в Нью-Йорке.

Так вот, этот Ирвинг был симпатичным еврейчиком, который хорошо умел играть в шахматы, а больше, пожалуй, ничего не умел; шелковистые волосы и по-детски розовые щеки делали его похожим на шестнадцатилетнего, хотя на самом деле ему было двадцать три, как и Уолтеру, а встретились они в баре, в Виллидже. Уолтер был одинок и очень скучал в Нью-Йорке, так что когда этот симпатичный малютка Ирвинг проявил дружелюбие, он решил, что неплохо бы и впрямь с ним подружиться — вдруг будет какая-нибудь польза. У Ирвинга была куча знакомых, все его очень любили, и он представил Уолтера всем своим приятелям.

Так появилась Маргарет — можно сказать, сердечная подружка Ирвинга. На вид ничего особенного (глаза навывкате, вечно следы помады на зубах, и одевалась как десятилетняя девочка), но была в ней какая-то лихорадочная оживленность, привлекавшая Уолтера. Он никак не мог понять, зачем она вообще связалась с Ирвингом. «Зачем?» — спросил он на одной из долгих прогулок, которые они стали вместе совершать в Центральном парке.

— Ирвинг миленький, — сказала она, — и он искренне меня любит, поэтому кто знает: может, я даже за него выйду.

— Ну и глупо, — сказал он. — Из Ирвинга не выйдет нормального мужа, потому что по-настоящему он твой младший брат. Ирвинг всем младший брат.

Маргарет была слишком умна, чтобы не согласиться. Так что в один прекрасный день, когда Уолтер спросил, не займется ли она с ним любовью, она сказала: ладно, почему бы и нет. После этого они часто занимались любовью.

Через какое-то время Ирвинг прослышал об этом, и однажды в понедельник произошла тяжелая сцена — как ни странно, в том самом баре, где они познакомились. В тот вечер состоялся прием в честь Курта Кунхардта («Кунхардт адвертайзинг»), босса Маргарет, и она взяла с собой Уолтера, а потом они зашли в бар, чтобы выпить на сон грядущий. Кроме Ирвинга и пары девиц в слаксах, там никого не было. Ирвинг сидел у стойки, щеки его покраснелись, глаза блестели: он смахивал на мальчонку, который играет во взрослого, — его короткие ножки не доставали до основания табурета, болтались, словно у куклы. Едва увидев его, Маргарет хотела развернуться и уйти прочь, но Уолтер не дал. Все равно Ирвинг их уже заметил: не сводя с них глаз, он отставил свое виски, медленно сполз с сиденья и зашагал к ним с печальной, нарочитой дерзостью.

— Ирвинг, дорогой... — начала Маргарет и остановилась, потому что он наградил ее ужасным взглядом.

Подбородок у него дрожал.

— Уходите отсюда, — сказал он, словно бросая вызов своим мучителям-старшеклассникам, — я вас ненавижу.

Затем, почти в замедленном темпе, размахнулся и, точно в руке у него был нож, ударил Уолтера в грудь; удар вышел совсем слабеньким, и, когда Уолтер ответил улыбкой, Ирвинг осел на музыкальный аппарат и завопил:

— Давай драться, ты, трус; ну давай, я убью тебя, Богом клянусь, убью.

Таким они его и оставили.

По дороге домой Маргарет тихо, устало заплакала.

— Он больше никогда не будет милым, — сказала она.

А Уолтер сказал:

— Не понимаю, о чем ты.

— Понимаешь, — отозвалась она почти шепотом, — прекрасно понимаешь; мы двое научили его ненавидеть. Мне кажется, раньше он совсем не знал, что это такое.

К тому времени Уолтер провел в Нью-Йорке четыре месяца. Его первоначальный

капитал в пятьсот долларов сократился до пятнадцати, и в январе Маргарет дала ему займы, чтобы было чем заплатить за жилье в «Бреворте»: почему, спрашивала она, он не хочет подыскать себе местечко подешевле? Ну, сказал он, лучше, когда твой адрес производит впечатление. А как насчет работы? Когда он думает взяться за дело? Или вовсе не собирается? Нет-нет, сказал он, конечно, он давно об этом думает. Но он не хочет хвататься за любую мелочевку, которая подвернется; ему нужно что-нибудь солидное, с перспективами, что-нибудь, например, в рекламном бизнесе. Хорошо, сказала Маргарет, она попробует помочь; во всяком случае, поговорит со своим начальником, мистером Кунхардтом.

Так называемое ККА было небольшим агентством, однако, как бывает в этой сфере, очень хорошим, чуть ли не лучшим. Курт Кунхардт, основавший его в 1925 году, был необычным человеком с необычной репутацией: тощий, привередливый немец, он жил в элегантном черном доме на Саттон-плейс, где среди прочих любопытных вещей имелись три Пикассо, чудесная музыкальная шкатулка и маски с Южных островов, а присматривал за всем этим слуга, коренастый молодой датчанин. Иногда хозяин приглашал на обед кого-нибудь из своих работников, нынешнего фаворита, ибо он всегда кому-то покровительствовал; однако протеже выбирались им под влиянием каприза, и оттого их положение было весьма шатким: случалось, что на следующий день после приятного обеда со своим благодетелем человек уже просматривал в газете объявления по найму. На второй неделе службы в ККА Уолтер, принятый на работу в качестве ассистента Маргарет, получил от мистера Кунхардта приглашение на ланч, что, разумеется, страшно его обрадовало.

— Брюзга? — сказала Маргарет, поправляя ему галстук, смахивая пылинку с лацкана. — Ничего подобного. Просто... на Кунхардта приятно работать, если не слишком входишь в роль; а иначе вполне можно вылететь: его настроения меняются.

Уолтер знал, куда она клонит; нет уж, ей не удастся сбить его с толку; он хотел сказать об этом прямо, но не стал: еще не время. Однако он собирался порвать с ней, причем в самом ближайшем будущем. Работать на Маргарет было унижительно. Кроме того, дальше его явно будут только затирать. Но этого он никому не позволит, думал он, глядя в сине-зеленые глаза мистера Кунхардта, никому не удастся затереть Уолтера.

— Дурень ты, дурень, — сказала ему Маргарет. — Боже мой, да я уже сто раз видела, как К. К. заводит себе приятелей, но это ни черта не значит: однажды он крутил шуры-муры с телефонисткой: все, что ему нужно, — это заморочить кому-нибудь голову. Поверь моему слову, Уолтер, и не ищи коротких путей: важно только то, как ты делаешь свою работу.

Он ответил:

— А разве есть жалобы на этот счет? Я работаю не хуже, чем ожидалось.

— Смотри кто чего ожидал, — сказала она.

Вскоре после этого, в субботу, они договорились встретиться на Центральном вокзале. Им предстояло поехать в Хартфорд и провести уик-энд с его семьей, и ради этого она купила новое платье, новую шляпку и туфли. Но он не явился на место встречи. Вместо этого он отправился на Лонг-Айленд с мистером Кунхардтом и был там самым почтительным из трехсот гостей на первом балу Розы Купер. Роза Купер (урожденная Куперман) была наследницей «Купер дэйри продактс»: смуглая обаятельная толстушка с неестественным британским акцентом, приобретенным за четыре года в школе мисс Джуэтт. Она написала письмо подружке по имени Анна Стимсон, а та впоследствии показала его Уолтеру: «Встретила чудеснейшего человека. Танцевала с ним шесть раз, танцует чудесно. Он агент по рекламе и божественный красавец. У нас будет свидание — обед и театр!»

Маргарет ни разу не помянула о происшедшем, как и Уолтер. Словно ничего не случилось, только теперь, если к этому не обязывали дела, они никогда не говорили друг с другом, никогда не виделись. Как-то после полудня, зная, что ее нет дома, он зашел в ее квартиру, воспользовавшись ключом, который она дала ему давным-давно; там оставались его вещи, одежда, несколько книг, трубка; собирая все это, он наткнулся на свою фотографию, перечеркнутую красной помадой; на миг ему почудилось, что он видит сон. Еще он нашел единственный подарок, сделанный им Маргарет: флакончик «L'Heure Bleue»,

который был до сих пор не открыт. Он присел на кровать, чтобы выкурить сигарету, и погладил прохладную подушку, вспоминая, как лежала здесь ее голова, вспоминая и то, как они лежали в постели воскресными утрами и читали вслух комиксы, Барни Гугла, и Дика Трейси, и Джо Палуку.

Он посмотрел на радио, маленький зеленый ящичек; они всегда занимались любовью под музыку, какую угодно, джаз, симфоническую, церковные хоры: это было их условным сигналом, потому что стоило ей захотеть его, как она говорила: «А не послушать ли нам музыку, милый?» Впрочем, все это было кончено, и он ненавидел ее, вот что надо было теперь помнить. Он снова отыскал флакон с духами и сунул его в карман: Розе такой сюрприз может понравиться.

На следующий день, в конторе, он остановился у бачка с питьевой водой; там стояла и Маргарет. Она напряженно улыбнулась ему и сказала: «А я и не знала, что ты вор». Это было первым открытым проявлением враждебности между ними. И вдруг Уолтер осознал, что во всем агентстве у него нет ни единого союзника. Кунхардт? На него нельзя было рассчитывать. А все прочие были врагами: Джексон, Эйнштейн, Фишер, Портер, Кейпхарт, Риттер, Вилла, Бирд. Конечно, они были достаточно умны, чтобы не показывать этого явно — во всяком случае, пока он пользовался симпатией шефа.

Что ж, неприязнь была по крайней мере чем-то определенным, а вот неопределенности в отношениях он не мог выносить вовсе — наверно, потому, что его собственные чувства были такими расплывчатыми, неоднозначными: он никогда не знал твердо, нравится ли ему Х или нет. Он нуждался в любви Х, но сам был не способен любить. Он никогда не говорил с Х искренне, никогда не сообщал ему больше пятидесяти процентов правды. С другой стороны, он не мог позволить Х иметь те же слабости: Уолтеру обязательно начинало казаться, что рано или поздно его предадут. Он боялся Х, боялся панически. Однажды в школе он списал из книги стихотворение и отдал его в школьный журнал; ему крепко запомнилась последняя строка: «Все наши дела продиктованы страхом». И когда учитель поймал его на плагиате, разве не показалось ему это страшной несправедливостью?

В начале лета он проводил почти все уик-энды у Розы Купер на Лонг-Айленде. Обычно в ее доме кишмя кишели студенты из Йейла и Принстона, что раздражало Уолтера, так как подобная молодежь еще в Хартфорде держалась от него на расстоянии и редко позволяла себе вступать с ним в споры. Что до самой Розы, то она была милашка; так говорили все, даже Уолтер.

Но милашки редко бывают серьезны, и Роза не воспринимала всерьез Уолтера. Он не слишком из-за этого огорчался. На этих уик-эндах у него появилось множество новых знакомых: Тейлор Овингтон, Джойс Рэндолф (восходящая звезда), И. Л. Маковой и еще с полдюжины людей, чьи имена набросили благородный флер на его записную книжку. Как-то вечером они с Анной Стимсон пошли на фильм с молодой Рэндолф и не успели занять свои места, как все на несколько рядов вокруг уже знали, что она — его Приятельница, что она слишком много пьет, что она аморальна и отнюдь не так хороша, как кажется на экране благодаря усилиям Голливуда. Анна сказала ему, что он — девица в штанах. «Ты мужчина только в одном отношении, лапка», — сказала она.

С Анной Стимсон его тоже познакомила Роза. Редактор журнала мод, она была едва ли не шести футов росту, носила черные костюмы, щеголяла моноклем, тросточкой и целыми фунтами звящего мексиканского серебра. Она дважды побывала замужем — в частности, за Баком Стронгом, исполнителем ковбойских ролей в кино, — и имела сына, четырнадцатилетнего парня, которого пришлось отправить, как она выражалась, «в спецшколу для коррекции поведения».

— Ужасный был ребенок, — говорила она. — Ему нравилось стрелять по окнам из пистолета, швыряться чем попало, красть вещи из «Вулворта» — кошмарный экземпляр, вроде тебя.

Однако Анна была добра к нему и, когда ее настроение бывало менее подавленным,

менее циничным, терпеливо выслушивала его излияния, его жалобы на то, что сделало его таким, какой он есть: всю жизнь неведомый обманщик подсовывал ему плохие карты. Приписывая Анне все пороки, кроме глупости, он избрал ее своим конфидентом; что бы он ей ни говорил, она никогда не выражала явного неодобрения. Он мог, например, сказать: «Я наврал Кунхардту про Маргарет с три короба; я понимаю, что это подло, но при случае она ответила бы мне тем же; и вообще я не хочу, чтобы он ее уволил, пусть лучше переведет в чикагское отделение».

Или: «Я был в книжном магазине и разговорился там с одним человеком: средних лет, вполне симпатичный, очень умный. Когда я вышел, он двинулся за мной, держась чуть поодаль; я пересек улицу, он тоже, я ускорил шаг, и он сделал то же самое. Кварталов через шесть-семь я наконец понял, что происходит, и был польщен, мне захотелось поиграть с ним. Тогда я остановился на углу и подозвал такси; затем повернулся и посмотрел на этого типа долгим, долгим взглядом, и он кинулся ко мне, сияя улыбкой. А я вскочил в такси, хлопнул дверцей, высунулся из окна и захохотал ему в лицо: вид у него был ужасный, прямо страсти Господни. Забыть не могу. Скажи мне, Анна, зачем я сделал такую безумную вещь? Я точно мстил всем, кто обидел меня, но в этом было и что-то еще». Он рассказывал Анне такие истории, шел домой и ложился спать; ему снились жутко непристойные сны.

Теперь его тревожила проблема любви, в особенности потому, что он не считал это проблемой. Однако он понимал, что нелюбим; это понимание билось в нем как добавочное сердце. Но рядом никого не было. Вот, скажем, Анна. Любила ли она его? «Ох, — говорила Анна, — да разве что-нибудь бывает таким, каким кажется? Сначала головастик, потом лягушка. Надеваешь кольцо — вроде золото, а на пальце оставляет зеленый след. Взять, к примеру, моего второго мужа — выглядел таким славным парнем, а оказался обычным подонком. Посмотри хотя бы на эту комнату: в камине и щепочки не сожжешь, а зеркала якобы добавляют простора, они врут. Нет, Уолтер, всё с виду одно, а по сути другое. Рождественские елки сделаны из пластика, а снег — мыльные стружки. В нас мается что-то, мы называем это душой, и, умирая, ты не умираешь совсем; ну и живые тоже не совсем живы. Ты хочешь знать, люблю ли я тебя? Не будь кретином, Уолтер, мы с тобой даже не друзья...»

Слушай вентилятор; кружит и кружит шепот: он сказал ты сказала они сказали мы сказали и снова и снова, быстро и медленно; это время в нескончаемом бормотании вспоминает само себя. Старый разбитый вентилятор тревожит тишину: вспомни третье августа, августа, августа!

Третьего августа, в пятницу, он увидел свое имя в колонке объявлений Уинчелла: «Авторитет рекламного бизнеса Уолтер Ранни и наследница молочной фермы Роза Купер советуют близким друзьям закупать рис». Уолтер сам дал этот текст знакомому знакомому Уинчелла. Он показал его мальчишке-официанту в кафе Уилана, за завтраком: «Это я, — пояснил он, я и есть этот парень», — и почувствовал, как при взгляде на лицо мальчишки у него улучшается пищеварение.

Тем утром он пришел в контору с опозданием; когда он шагал к своему месту, его слух ласкал легкий шелест, поднявшийся на столах машинисток. Однако никто ничего не сказал. Около одиннадцати, убив час на приятное ничегонеделание, Уолтер в приподнятом настроении спустился в аптеку на чашечку кофе. Там сидели трое его коллег, Джексон, Риттер и Бирд, и когда Уолтер вошел, Джексон подтолкнул Бирда, а Бирд Риттера, и все разом повернулись. «Авторитет, значит?» — сказал Джексон, рано облысевший розовый человечек, и двое других засмеялись. Сделав вид, что не замечает их, Уолтер юркнул в телефонную будку. «Скоты», — прошептал он, прикидываясь, будто набирает номер. И после долгого ожидания, когда они наконец ушли, позвонил по-настоящему:

— Роза, привет, не разбудил?

— Нет.

— Слушай, ты читала Уинчелла?

— Да.

Уолтер засмеялся:

— Как по-твоему, откуда он это взял?

Молчание.

— В чем дело? Я тебя не понимаю.

— Да ну?

— Ты что, с ума сошла?

— Нет, только разочарована.

— В чем?

Молчание. И затем:

— Это гадко с твоей стороны, Уолтер, просто гадко.

— Не пойму, о чем ты говоришь.

— Прощай, Уолтер.

Уходя, он заплатил кассиру за чашку кофе, которую забыл выпить. В здании была парикмахерская. Он сказал, что хочет побриться; нет — лучше стрижку; нет — маникюр; и внезапно, глядя в зеркало на свое лицо, почти такое же белое, как фартук парикмахера, понял, что не знает, чего ему хочется. Роза была права, он гадок. Он всегда охотно признавал свои недостатки, потому что после их признания они как бы переставали существовать. Он снова поднялся наверх и сел за свой стол, чувствуя себя так, словно внутри у него открылось кровотечение; ему очень хотелось поверить в Бога. По карнизу за окном вышагивал голубь. Некоторое время он смотрел на сияющие в солнечных лучах перья, наблюдал за шаткой степенностью его движений; потом, не успев осознать, что делает, взял со стола и бросил стеклянное пресс-папье; голубь спокойно взмыл вверх, пресс-папье пронеслось мимо, как гигантская капля; а вдруг, подумал он, услышав далекий вскрик, а вдруг оно попало в кого-нибудь, убило человека? Но ничего не произошло. Только треск пишущих машинок, стук в дверь: «Эй, Ранни, К. К. зовет».

— Весьма сожалею, — сказал мистер Кунхардт, поигрывая золотой ручкой. — Я напишу вам рекомендацию, Уолтер. Когда захотите.

И вот в лифте среди врагов, заполонивших все, зажавших Уолтера меж собой; там была и Маргарет с волосами, перевязанными голубой лентой; она посмотрела на него, и ее лицо было не таким, как другие, не равнодушным и пустым; на нем еще оставалась жалость. Но, глядя на Уолтера, она глядела и сквозь. Мне это снится; он не должен был позволять себе думать иначе; однако он держал под мышкой опровержение сну, большой конверт с личными бумагами, вынутыми из его стола. Когда лифт опустел в вестибюле, он понял, что ему необходимо поговорить с Маргарет, выпросить у нее прощение, найти защиту, но она быстро двигалась к выходу, теряясь в массе врагов; я люблю тебя, сказал он, нагоняя ее, люблю тебя, сказал он, не говоря ничего.

— Маргарет! Маргарет!

Она обернулась. Ее голубая лента была под цвет глаз, а их взгляд, устремленный на него снизу вверх, смягчился, стал почти дружеским. Или сочувственным.

— Прошу тебя, — сказал он. — Я подумал, может, нам выпить вместе, может, зайти к Бенни. Мы ведь любили это кафе, помнишь?

Она покачала головой.

— У меня встреча, и я уже опаздываю.

— Ох.

— Извини... я правда опаздываю, — сказала она и побежала. Он стоял, глядя, как она перебегает улицу, ее лента развевалась, блестя на угасающем летнем солнце. А потом исчезла.

Его однокомнатную квартирку в доме рядом с парком Грамерси надо было проветрить, убрать, но Уолтер, налив себе виски, послал все к черту и растянулся на кушетке. Что толку? Как ни работай, как ни старайся, все равно ничего не добьешься; всех кругом постоянно обманывают, а кого в этом винить? Но вот что странно: лежа здесь в сгущающихся сумерках

и прихлебывая из стакана, он ощущал спокойствие, от которого давно уже отвык. Как тогда, когда завалил экзамен по алгебре и почувствовал такое облегчение, такую свободу: провал был чем-то ясным, определенным, а ясность вселяет в душу покой. Теперь он уедет из Нью-Йорка, отдохнет; у него есть несколько сот долларов, до осени хватит.

И, размышляя о том, куда двинется, он вдруг увидел, словно в голове его начал прокручиваться фильм, шелковые шапочки, вишневые и лимонные, и маленьких умнолицых людей в элегантных рубашках в горошек; закрыв глаза, он точно вновь превратился в пятилетнего, и было чудесно вспоминать крики зрителей, хот-доги, большой отцовский бинокль. Саратога! На его лицо легла тень сумерек. Он зажег лампу, налил еще виски, поставил на граммофон пластинку с румбой и стал танцевать, подошвы его ботинок шептали на ковре; он часто думал, что немного тренировки — и из него выйдет профессионал.

Как раз когда смолкла музыка, зазвонил телефон. Он замер на месте, почему-то боясь ответить, и свет лампы, мебель, все прочее вдруг стало безжизненным. Он уже надеялся, что звонки прекратились, но тут телефон начал снова; как будто даже громче, настойчивей. Он споткнулся о скамеечку для ног, поднял трубку, уронил, подобрал ее и сказал: «Да?»

Звонок издалека: из какого-то города в Пенсильвании, он не расслышал точно. Хаотические трески, а потом к нему пробился голос, сухой, бесполой и совершенно не похожий на все слышанные прежде:

— Здравствуй, Уолтер.

— Кто это?

Ни слова в ответ, только ровное, сильное дыхание; связь была такой хорошей, что казалось, будто тот человек стоит рядом с ним, прижав губы к его уху.

— Я не люблю шуток; кто это говорит?

— Да ты ведь знаешь меня, Уолтер. Давно знаешь.

Щелчок, и ничего.

Поезд прибыл в Саратогу ночью; шел дождь. Он проспал большую часть дороги, потев во влажной духоте вагона, и ему снился древний замок, где жили только старые индюки, и сон, где были его отец, Курт Кунхардт, кто-то безликий, Маргарет и Роза, Анна Стимсон и странная толстая женщина с алмазными глазами. Он стоял на длинной безлюдной улице; кроме медленно приближающейся к нему вереницы черных автомобилей, похожей на траурную процессию, вокруг не было признаков жизни. И тем не менее он словно видел свою наготу из каждого окна и отчаянно замахал первому лимузину; тот остановился, и водитель, его отец, гостеприимно распахнул дверцу; папочка, закричал он, рванувшись вперед, и огромная дверь захлопнулась, отхватив ему пальцы, а отец с гулким, утробным смехом высунулся из окна и швырнул ему огромный венок из роз. Во второй машине была Маргарет, в третьей женщина с алмазными глазами (может быть, миссис Кейси, его бывшая учительница по алгебре?), в четвертой мистер Кунхардт с новым протезе, существом без лица. Каждая дверь открывалась, каждая хлопала, все смеялись, все бросали розы. Одна за другой машины ускользали прочь по тихой улице. И с безумным воплем Уолтер упал под горой роз; шипы ранили его, а внезапный дождь, серый ливень, сбивал лепестки и размывал по листьям бледную кровь.

По неподвижному взгляду женщины, сидящей напротив, он сразу понял, что кричал вслух. Он робко улыбнулся ей, и она отвела взор, как ему почудилось, с некоторым смущением. Это была калека с огромным башмаком на левой ноге. Позже, на саратогском вокзале, он помог ей с багажом, и они вместе взяли такси; они не разговаривали; каждый сидел в своем углу, глядя на дождь, на расплывчатые огни. Несколько часов назад, в Нью-Йорке, он забрал из банка все свои сбережения и запер квартиру, никому ничего не сказав; а здесь у него не было ни единого знакомого; ему приятно было думать об этом.

В гостинице не нашлось мест; вдобавок к приехавшим на скачки, объяснил ему дежурный, у них собрались на конференцию врачи; нет, извините, он не знает, где найти комнату. Может быть, завтра.

Тогда Уолтер пошел в бар. Раз ему предстояло провести ночь на ногах, то вполне можно было выпить. В баре, очень большом, было очень жарко и шумно, он пестрел гротесками летнего сезона: обрюзглыми дамами в чернобурках, и низкорослыми жокеями, и бледными громкоголосыми мужчинами в клетчатой одежде фантастической расцветки. Однако после второй порции шум словно отодвинулся куда-то далеко. Затем, оглядевшись, он увидел калеку. Она сидела за столиком одна и чинно потягивала мятный ликер. Они обменялись улыбками. Поднявшись, Уолтер пересел к ней.

— Мы уже как старые знакомые, — сказала она, когда он устроился рядом. — На скачки приехали?

— Нет, — сказал он, — просто отдохнуть. А вы?

Она поджала губы:

— Вы, наверно, заметили, что у меня больная нога; ох, пожалуйста, не прикидывайтесь; это все замечают. Ну вот, — сказала она, мешая в стакане соломинкой, — мой врач собирается читать доклад обо мне и моей ноге как редком случае. А я ужасно боюсь. То есть мне ведь придется показывать ногу.

Уолтер выразил сочувствие, а она ответила, ладно, не стоит ее жалеть; в конце концов, благодаря этому она получила маленький отпуск, разве не так?

— Я уже шесть лет не выбиралась из города. Шесть лет прошло с тех пор, как провела неделю в гостинице на Медвежьей горе.

У нее были красные щеки в крапинках, а глаза цвета лаванды; слишком близко посаженные, они смотрели пристально, точно она вовсе не умела мигать. На ее безымянном пальце был золотой ободок; притворство, конечно; это никого не могло обмануть.

— Я служанка, — сказала она, отвечая на вопрос. — И ничего тут нет плохого: честная работа, мне нравится. У людей, которые меня наняли, очень смысленный сынишка, Ронни. Я для него лучше, чем мать, он и любит меня больше: сам так говорит. Та-то все время пьяная.

Тоскливо было об этом слушать, но Уолтер, вдруг испугавшись одиночества, остался и пил и говорил так, как прежде говорил с Анной Стимсон. Ш-ш-ш! — сказала она раз, когда его голос взмыл вверх и люди в баре стали оборачиваться. Уолтер сказал, пошли они к черту, ему плевать; он чувствовал себя так, словно его мозг был сделан из стекла, а все выпитое им виски превратилось в молот; в его голове точно звенели осколки, сдвигая фокус, искажая формы; калека, например, казалась не одной личностью, а несколькими: Ирвингом, его матерью, человеком по имени Бонапарт, Маргарет, всеми ими разом и еще другими; он все больше и больше понимал, что жизнь есть круг и ни одно мгновение не может быть изолировано, забыто.

Бар закрывался. При расчете им стало неловко, и, ожидая сдачи, оба молчали. Глядя на него своими немигающими лавандовыми глазами, она, похоже, хранила полную невозмутимость, но в душе ее, он видел, происходило некое легкое волнение. Когда официант вернулся, они поделили сдачу, и она сказала: «Если хотите, можете подняться ко мне в номер. — И залилась отчаянным румянцем. — То есть вы говорили, что вам негде спать...» Уолтер потянулся и взял ее за руку; ее ответная улыбка была трогательно робкой.

Когда она вышла из ванной, на ней были только поношенный халат телесного цвета да чудовищный черный ботинок; от нее разило дешевыми духами. Только тут он понял, что не сможет пройти через это. Его переполняла жалость к себе; даже Анна Стимсон никогда не простила бы ему такого. «Не смотри, — сказала она, голос ее дрожал. — Мне всегда трудно с теми, кто видел мою ногу».

Он отвернулся к окну, где навязчиво шелестели под дождем листья вяза; мигнула белая молния, слишком далекая, чтобы услышать гром. «Ну все», — сказала она. Уолтер не двинулся с места.

— Ну все, — повторила она с тревогой. — Тушить свет? Я имею в виду, может, ты хочешь приготовиться... в темноте.

Он подошел к кровати и, склонившись, поцеловал ее в щеку.

— Ты так добра, но...

Вдруг зазвонил телефон. Она озадаченно посмотрела на него поверх трубки.

— Господи боже, — сказала она, прикрыв микрофон ладонью, — это издалека! Честное слово, что-то насчет Ронни! Наверное, он заболел или... — алло!.. что? Ранни? Ой, нет. Вы набрали неправильный...

— Постой, — сказал Уолтер, отбирая трубку. — Это я. Уолтер Ранни слушает.

— Здравствуй, Уолтер.

Этот голос, ровный, бесполой и далекий, проник прямо ему под ложечку. Комната словно закачалась, пошла рябью. На его верхней губе выступила полоска пота.

— Кто это? — сказал он так медленно, что слова плохо вязались друг с другом.

— Ты знаешь меня, Уолтер. Ты давно меня знаешь. — И тишина; на другом конце повесили трубку.

— Надо же, — сказала женщина, — как, по-твоему, они узнали, что ты у меня в номере; то есть... что, плохие новости? У тебя вид...

Уолтер упал на нее, прижимая ее к себе, притиснув свою мокрую щеку к ее.

— Обними меня, — сказал он, обнаружив, что еще может плакать, — крепче, пожалуйста.

— Бедный мальчик, — сказала она, похлопывая его по спине. — Мой бедный малютка; мы ужасно одиноки в этом мире, правда? — И скоро он заснул у нее в объятиях.

Но с тех пор он не спал, не мог спать и теперь, даже под убаюкивающий напев вентилятора; в его вращении он различал стук колес: из Саратоги в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Новый Орлеан. А Новый Орлеан он выбрал без особенной причины, только потому, что это был далекий город, незнакомый. Четыре вращающиеся лопасти, колеса и голоса, снова и снова; и сейчас он понял уже окончательно, что из этих зловещих сетей не вырваться, выхода нет и не будет.

За стеной в трубах прошумела вода, шаги слышались сверху, звякнули ключи в вестибюле, где-то далеко забубнил диктор, в соседнем номере девочка сказала: почему? Почему? ПОЧЕМУ? Но в его комнате висела тишина. На свету, падающем из окошка над дверью, его ноги отливали шлифованным гранитом; ногти на них блестели, как десять маленьких зеленоватых зеркала. Сев, он отер пот полотенцем; теперь жара пугала его больше всего остального, ибо делала осязаемой его беспомощность. Он швырнул полотенце через всю комнату, и оно повисло на абажуре, покачиваясь. И в этот миг зазвонил телефон. Он звонил и звонил — так громко, что было слышно, наверно, по всей гостинице. Скоро ему забарабанит в дверь целая толпа. И он уткнулся лицом в подушку, закрыл уши руками и подумал: не думай ни о чем, думай о ветре.

Дети в день рождения

перевод С. Митиной

Вчера вечером шестичасовой автобус переехал мисс Боббит. Сам не знаю, как мне рассказывать об этом: ведь что там ни говори, мисс Боббит было всего десять лет, и все же я уверен — в нашем городе ее никто не забудет. Начать с того, что она всегда поступала необычно, с той самой минуты, когда мы впервые ее увидели, а было это около года тому назад. Мисс Боббит и ее мать, они приехали этим же самым шестичасовым автобусом — он прибывает из Мобила и идет дальше. В тот день было рождение моего двоюродного брата Билли Боба, так что почти все ребята из нашего городка собрались у нас. Мы как раз угощались на веранде пломбиром «тутти-фрутти» и обильным шоколадным тортом, когда из-за Гиблого поворота с грохотом вылетел автобус. В то лето не выпало ни одного дождя; все было присыпано ржавой сушью, и, когда по дороге проходила машина, пыль иной раз висела в недвижимом воздухе по часу, а то и больше. Тетя Эл говорила — если в ближайшее

время дорогу не замостят, она переедет на побережье; впрочем, она говорила это уже давным-давно.

В общем, сидели мы на веранде, и «тутти-фрутти» таяло у нас на тарелочках, и только нам всем подумалось — а хорошо бы, сейчас произошло что-нибудь необычайное, — как оно и произошло: из красной дорожной пыли возникла мисс Боббит — тоненькая девочка в нарядном подкрахмаленном платье лимонного цвета; она важно выступала с таким взрослым видом: одну руку уперла в бок, на другой висел большой зонт, какие носят старые девы. За нею плелась ее мать растрепанная, изможденная женщина, с голодной улыбкой и тихим взглядом, тащившая два картонных чемодана и заводную вилтрулу.

Все ребята на веранде до того обомлели, что, даже когда на нас с жужжанием налетел осиный рой, девчонки забыли поднять свой обычный визг. Все их внимание было поглощено мисс Боббит и ее матерью — они как раз подошли к калитке.

— Прошу прощения, — обратилась к нам мисс Боббит (голос у нее был шелковистый, как красивая лента, и в то же время совсем еще детский, а дикция безупречная, словно у кинозвезды или учительницы), — но нельзя ли нам побеседовать с кем-нибудь из взрослых представителей семьи?

Относилось это, конечно, к тете Эл и до некоторой степени ко мне. Но Билли Боб и остальные мальчишки, хотя всем им было не больше тринадцати, потянулись к калитке вслед за нами. Поглядеть на них, так они в жизни девчонки не видели. Такой, как мисс Боббит, — определенно. Как говорила потом тетя Эл — где это слыхано, чтобы ребенок мазался? Губы у нее были ярко-оранжевые, волосы, напоминавшие театральный парик, все в локонах, подрисованные глаза придавали ей бывалый вид. И все же была в ней какая-то сухошавая величавость, в ней чувствовалась леди, и, что самое главное, она по-мужски прямо смотрела людям в глаза.

— Я мисс Лили Джейн Боббит, мисс Боббит из Мемфиса, штат Теннесси, торжественно изрекла она.

Мальчишки устали себе под ноги, а девчонки на веранде во главе с Корой Маккол, за которой в то время бегал Билли Боб, разразились пронзительным, как звуки фанфар, смехом.

— Деревенские ребяташки, — проговорила мисс Боббит с понимающей улыбкой и решительно крутанула зонтиком. — Мы с матерью, — тут стоявшая позади нее простоватая женщина отрывисто кивнула, словно подтверждая, что речь идет именно о ней, — мы с матерью сняли здесь комнаты. Не будете ли вы так любезны указать нам этот дом? Его хозяйка — некая миссис Сойер.

Ну конечно, сказала тетя Эл, вон он, дом миссис Сойер, прямо через дорогу. Это единственный пансион у нас в городе, старый, высокий, мрачный дом, и вся крыша утыкана громоотводами, — миссис Сойер до смерти боится грозы.

Зарумянившись, словно яблоко, Билли Боб вдруг сказал — простите, мэм, сегодня такая жарница и вообще, так не угодно ли отдохнуть и попробовать «тутти-фрутти»; и тетя Эл тоже сказала — да, да, милости просим, но мисс Боббит только качнула головой.

— От «тутти-фрутти» очень полнеют, но все равно мерси вам от души.

И они стали переходить улицу, и мамаша Боббит поволокла чемоданы по дорожной пыли. Вдруг мисс Боббит повернула обратно; лицо у нее было озабоченное, золотистые, как подсолнух, глаза потемнели, она чуть скосила их, словно припоминая стих.

— У моей матери расстройство речи, так что я вынуждена говорить за нее, торопливо сказала она и тяжело вздохнула. — Моя мать — превосходная портниха; она шила дамам из лучшего общества во многих городах, больших и маленьких, включая Мемфис и Таллахасси. Вы, разумеется, обратили внимание на мое платье и пришли от него в восторг. Это работа моей матери, каждый стежок сделан вручную. Моя мать может скопировать любой фасон, а совсем недавно она получила приз от журнала «Спутник хозяйки дома» — двадцать пять долларов. Моя мать знает также любую вязку — крючком и на спицах — и делает всевозможные вышивки. Если вам понадобится что-нибудь сшить, обращайтесь, пожалуйста,

к моей матери. Пожалуйста, порекомендуйте ее своим друзьям и родственникам. Спасибо.

И она удалилась, шурша накрахмаленным платьем.

Кора Маккол и остальные девчонки, озадаченные, настороженные, нервно дергали ленты у себя в волосах; они что-то скисли, лица у всех вытянулись. Я мисс Боббит, передразнила Кора и состроила злобную гримасу, а я принцесса Елизавета, вот я кто, ха-ха-ха! А платье-то, сказала Кора, самое что ни на есть муровое. И вообще, я лично выписываю все свои платья из Атланты, а еще есть у меня пара туфель из Нью-Йорка, я уж не говорю о том, что серебряное кольцо с бирюзой мне прислали из Мехико-сити, из самой Мексики.

Тетя Эл сказала — зря они так обошлись с приезжей, ведь она такая же девочка, как они, да к тому же нездешняя; но девчонки бесновались, как фурии, а кое-кто из мальчишек — те, что поглупей и любят водиться с девчонками, взяли их сторону и понесли такое, что тетя Эл залилась краской и сказала — она сейчас же отправит их по домам и все-все расскажет ихним папашам, чтобы взгрили их хорошенько. Но исполнить свою угрозу тетя Эл не успела, и причиной тому была мисс Боббит собственной персоной — она появилась на веранде сойеровского дома в новом и совсем уже странном одеянии.

Ребята постарше, как, скажем, Билли Боб и Причер Стар, которые упорно отмалчивались, покуда девчонки язвили по адресу мисс Боббит, и только мечтательно поглядывали затуманенными глазами на дом, где она скрылась, разом повскакали и пошли к садовой калитке. Кора Маккол фыркнула и презрительно выпятила губу, но мы, остальные, тоже поднялись с мест и расселись на ступеньках веранды. Мисс Боббит не обращала на нас ни малейшего внимания. В сойеровском саду темно от тутовых деревьев, он весь зарос шиповником и бурьяном. Иной раз после дождя шиповник пахнет так сильно, что даже у нас в доме слышно. Посреди двора стоят солнечные часы — миссис Сойер воздвигла их еще в тысяча девятьсот двенадцатом году над могилкой бостонского бульдога по кличке Солнышко, который издох, умудрившись вылакать ведро краски. Мисс Боббит величественной походкой спустилась с веранды, держа в руках виктролу, поставила ее на солнечные часы, завела и пустила пластинку — вальс из «Графа Люксембурга». Уже почти стемнело; наступил час летающих светлячков, когда воздух становится голубоватым, как матовое стекло, и птицы, поспешно слетаясь в стайки, рассеиваются затем в складках листвы. Перед грозой цветы и листья словно бы излучают свой собственный свет, их окраска становится ярче; так и мисс Боббит в пышной, похожей на пуховку белой юбочке и со сверкающей повязкой из золотой канители в волосах, казалось, вся светится в сгущающихся сумерках. Выгнув над головою руки с поникшими, словно головки лилий, кистями, она встала на пуанты и простояла так довольно долго; и тетя Эл сказала — вот молодчина какая. Потом она принялась кружиться под музыку, кружилась, кружилась, кружилась; тетя Эл даже сказала, — ой, у меня уже все перед глазами плывет. Останавливалась она лишь для того, чтобы завести виктролу. Уже и луна скатилась за гребень горки, и отзвонили колокольчики, сзывавшие семьи к ужину, и все ребята разошлись по домам, и стал раскрывать свои лепестки ночной ирис, а мисс Боббит все еще была там, в темноте, и кружилась без усталости, словно волчок.

Потом она несколько дней не показывалась. Зато теперь к нам зачастил Причер Стар, он являлся с утра и торчал до самого ужина. Причер — худющий, как жердь, парнишка с огромной копной ярко-рыжих волос; у него одиннадцать братьев и сестер, но даже они его боятся, — нрав у него бешеный, и он знаменит на всю округу своими дикими, злобными выходками: четвертого июля он так отдубасил Олли Овертона, что того пришлось отвезти в больницу в Пенсаколу, а в другой раз он откусил у мула пол-уха, пожевал-пожевал и выплюнул. Пока Билли Боб не вымахал такой здоровенный, Причер и над ним измывался черт знает как: то набьет ему репьев за шиворот, то вотрет перцу в глаза, то изорвет тетрадку с домашним заданием. Зато сейчас они самые закадычные дружки во всем городе; и повадки у них одинаковые и разговоры; иногда они оба пропадают по целым дням одному Богу известно где. Но в те дни, когда мисс Боббит не показывалась, они все время вертелись около дома — то стреляли из рогатки по воробьям, усевшимся на телефонных столбах, то

Билли Боб брэнчал на гавайской гитаре и оба они что есть мочи горланили:

Отпиши-ка мне, милашка,
От тебя я писем жду.
Отпиши мне поскорее
В Бирмингемскую тюрьму.

Орали они так громко, что дядюшка Билли Боб (он у нас окружной судья) уверял — их даже в суде было слышно. Но мисс Боббит не слышала их; во всяком случае, она ни разу носа за дверь не высунула. Потом зашла к нам как-то миссис Сойер одолжить чашку сахара и много чего наболтала про своих новых постояльцев. А знаете, сыпала она, прижмуривая блестящие, как у курицы, глазки, папаша-то ихний — мошенник, да-да, девчушка мне сама говорила. Стыда у нее ни на грош. Лучше моего папочки, говорит, на свете не сыщешь, а уж поет он слаще всех в Теннесси... Тогда я и спрашиваю — а где же он, кисанька? А она мне как ни в чем не бывало — да он, говорит, в каторжной тюрьме, и у нас от него никаких вестей. Ну что вы на это скажете — просто кровь стынет в жилах, а? И еще я так думаю — ее мама, думаю, не иначе как иностранка какая: никогда слова не скажет, а другой раз сдается мне — ничегошеньки она не понимает, что ей говорят. Да, потом, знаете, — они все едят сырое. Сырые яйца, сырую репу, сырую морковь. А мяса в рот не берут. Девчушка говорит — это для здоровья полезно, а вот и нет! Сама-то она с прошлого вторника пластом лежит, у ней лихорадка.

В тот же день тетя Эл, выйдя полить свои розы, обнаружила, что они все исчезли. Розы эти были особенные, она собиралась везти их в Мобил на выставку цветов и потому, ясное дело, тут же устроила небольшую истерику. Позвонила шерифу и говорит — вот что, шериф, давайте-ка приезжайте сию же минуту. Такое дело — тут кто-то срезал все мои розы «Леди Энн», а я с ранней весны хлопотала над ними, все сердце, всю душу в них вкладывала. Когда машина с шерифом остановилась у нашего дома, все соседи вылезли на веранды, а миссис Сойер, с белым от крема лицом, затрусилась к нам через улицу. Тьфу ты пес, пробурчала она, страшно разочарованная тем, что у нас никого не убили, тьфу ты, да никто их не крал, эти розы. Ваш Билли Боб притащил их к нам, розы эти, и велел передать малышке Боббит.

Тетя Эл не сказала ни слова. Она подошла к персиковому дереву, срезала ветку и сделала из нее хороший прут. Ну-у-у, Билли Боб, выкрикивала она, идя по улице, ну-у-у, Билли Боб. Она обнаружила его у Лихача в гараже — они с Причером сидели и смотрели, как Лихач разбирает мотор. Она безо всяких подняла Билли Боба за вихры и потащила домой, что есть силы нахлестывая прутом. Но так и не заставила его просить прощения и не выжала из него ни слезинки. Когда тетя Эл наконец выпустила его, он убежал на задний двор, забрался на самую верхушку высоченного пеканового дерева и поклялся, что оттуда не слезет. Потом к окну подошел его отец и стал громко его уговаривать: сынок, мы на тебя больше не сердимся, слезай, ужинать пора. Но Билли Боб — ни в какую. Вышла тетя Эл, она припала к дереву, и голос у нее стал мягкий, как чуть затеплившийся день. Ну не сердись, сынок, говорила она, я ж не хотела так сильно тебя отхлестать. А ужин-то, сынок, я приготовила какой вкусный картофельный салат, вареный окорок, фаршированные яйца. Но Билли Боб твердил уходи, не надо мне твоего ужина, ненавижу тебя, не-на-ви-жу! Тогда его отец говорит — нельзя так с матерью разговаривать, и тетя Эл заплакала. Она стояла под деревом, и плакала, и утирала глаза подолом. Да я ж не со зла, сынок... Да когда б я тебя не любила, разве стала бы я тебя драть... Листья пекана зашелестели, Билли Боб медленно сполз с дерева, и тетя Эл, взъерошив ему волосы, притянула его к себе. Ох, мам, приговаривал он, ох, мам...

После ужина Билли Боб пришел ко мне в комнату и улегся у меня в ногах на кровати. От него пахло чем-то кислым и сладковатым, мальчишки всегда так пахнут, и мне стало

ужасно жаль его, он был такой удрученный, даже глаза прикрыл. Но так ведь положено — когда люди болеют, посылать им цветы, сказал он вполне резонно. Тут мы услышали виктролу, отдаленный ритмичный звук, в окошко влетела ночная бабочка и закачалась в воздухе, нежная, слабая, как эта музыка. Уже стемнело, и мы не могли разглядеть, танцует ли мисс Боббит. Билли Боб, словно от боли, сложился вдвое, как складной нож, но лицо его вдруг просветлело, диковатые мальчишеские глаза замерцали, как свечи. До чего же она мировая, зашептал он, никогда таких мировецких девчонок не видел. А, на фиг все, плевать мне, да я бы в Китае и то все розы пообрывал.

Причер тоже готов был пообрывать все розы в Китае. Он совсем ошалел от нее, как и Билли Боб. Но мисс Боббит не замечала их. Ее дальнейшее общение с нами ограничилось запиской к тете Эл — она благодарила за розы. День за днем просиживала она на веранде, разодетая в пух и прах, — вышивала, расчесывала локоны или читала словарь Вебстера; держалась со всеми сдержанно, но вполне дружелюбно: поздороваешься, и она поздоровается в ответ. И все же мальчишки никак не могли набраться духу подойти к ней и завести разговор; обычно она их попросту не замечала, даже когда они носились по улице и вытворяли черт знает что, лишь бы привлечь ее внимание: боролись, играли в Тарзана, выделывали идиотские трюки на велосипедах. Невеселое это было дело. Многие девчонки по два, по три раза за час проходили мимо сойеровского дома, чтоб хоть одним глазком взглянуть на мисс Боббит. Среди них были Кора Маккол, Мэри Мэрфи-Джонс, Дженис Аккермэн. Но мисс Боббит и к ним не проявляла ни малейшего интереса. Кора перестала разговаривать с Билли Бобом, а Дженис — с Причером. Дженис даже прислала Причеру письмо — оно было написано красными чернилами на бумаге с узорным обрезом, и в нем говорилось, что подлее его нет в целом свете, и у нее просто нет слов, и она разрывает их помолвку, и он может забрать обратно чучело белки, которое он ей подарил. Причер, желая все сделать по-хорошему, — так он потом объяснял, — остановил Дженис, когда она в следующий раз проходила мимо нашего дома, и говорит — ладно уж, елки-палки, если она так хочет, то может оставить эту самую белку себе, — и совершенно не мог понять, с чего это Дженис вдруг разревелась и убежала.

Однажды мальчишки разошлись пуще обычного. Билли Боб напялил отцовскую форму, оставшуюся после войны, а Причер разгуливал без рубашки, и на груди у него старой губной помадой тети Эл была намалевана голая красотка. Выглядели они оба совершеннейшими кретинами, но мисс Боббит, полулежавшая на скамейке-качелях, при виде их только зевнула. Был полдень, на улице ни души, кроме цветной девчушки, по-детски пухленькой и смахивающей на круглый леденец. Она брела с ведерком ежевики в руке, что-то мурлыкая себе под нос. Мальчишки тут же прилипли к ней, словно рой мошкар; взявшись за руки, они не давали ей пройти — пускай заплатит пошлину. Да ни про какую я пошлину знать не знаю, твердила девчушка, какую такую вам пошлину, мистер? Прогулочку в амбар, прошипел Билли Боб сквозь зубы, веселенькую прогулочку в амбар. Девчушка надулась и, передернув плечами, сказала — да ну еще, какие такие амбары. В ответ Билли Боб опрокинул ее ведерко. С отчаянным поросычьим визгом она бросилась собирать рассыпанную ягоду, тщетно пытаясь ее спасти, и тут Причер Стар — а он иногда бывает гнусней самого сатаны — как наподдаст ей, и она плюхнулась, словно желе, прямо в пыль, на ежевику. А с другой стороны улицы уже мчалась мисс Боббит, и ее указательный палец раскачивался, как метроном. Она хлопнула в ладоши, точь-в-точь как заправская учительница, топнула, сердито сказала:

— Хорошо известно, что джентльмены для того и созданы на этой земле, чтобы служить защитой для дам. Неужели вы думаете, что в таких городах, как Мемфис, Нью-Йорк, Лондон, Голливуд и Париж, мальчишки держат себя подобным образом?

Мальчишки попятились, спрятали руки в карманы. Мисс Боббит помогла цветной девчушке подняться, отряхнула с нее пыль, вытерла ей глаза и, протянув свой носовой платок, велела ей высморкаться.

— Хорошее дело, — сказала она, — красивое положение, чтобы дама среди бела дня не

могла спокойно пройти по улице.

Затем обе они направились к дому миссис Сойер и сели на веранде, и потом целый год они были неразлучны, мисс Боббит и этот слоненок в юбке по имени Розальба Кэт. Сперва миссис Сойер подняла бучу — почему цветная девчонка целыми днями околачивается у нее в доме. Ну куда это годится, жаловалась она тете Эл, чтоб черномазая этак вот, у всех на виду, сидела, нахально развалясь, у нее на веранде; но, по-видимому, мисс Боббит обладала какими-то чарами; уж если она за что бралась, то делала все основательно и притом всегда действовала напрямик и с такою торжественной серьезностью, что людям ничего другого не оставалось, как подчиниться. Вот вам к примеру: сперва все торговцы у нас в городке пофыркивали, называя ее «мисс Боббит», но мало-помалу она стала для них просто мисс Боббит, и, когда она проносилась мимо, решительно крутя зонтиком, они отвешивали ей церемонные полупоклоны. Мисс Боббит твердила всем и каждому, что Розальба — ее сестра, и сперва это вызывало немало шуточек, но постепенно к этому привыкли, как и ко всем ее выдумкам, и никто из нас больше не улыбался, слыша, как они окликают друг друга: «Сестрица Розальба!», «Сестрица Боббит!»

А между тем сестрица Розальба и сестрица Боббит проделывали довольно странные вещи. Взять хоть эту историю с собаками. Дело в том, что у нас в городе множество бездомных собак — тут и терьеры, и легавые, и овчарки. В полуденные часы они небольшими стайками сонно трусят по горячим улицам и лишь дожидаются, покуда стемнеет и взойдет луна, чтобы громко завывать; и всю ночь напролет слышится этот тоскливый вой: кто-то умирает, кто-то уже мертв. Так вот, мисс Боббит обратилась к шерифу с жалобой: стая собак облюбовала себе место у нее под окошком, а у нее очень чуткий сон, это во-первых, но что самое главное — вот и сестрица Розальба тоже так считает, — это совсем не собаки, а нечистая сила. Шериф, разумеется, палец о палец не ударил, и тогда мисс Боббит взяла это дело в свои руки. В одно прекрасное утро, после особенно беспокойной ночи, мы видим: мисс Боббит шествует по улице, рядом — Розальба с цветочной корзинкой, доверху набитой камнями. Завидев собаку, они останавливаются, и мисс Боббит внимательно ее разглядывает; иной раз мотнет головой, но куда чаще кивает: да, сестрица Розальба, это одна из них! — после чего сестрица Розальба достает из корзинки камень, свирепо примеривается — и трах собаку между глаз.

А вот еще случай с мистером Гендерсоном, занимающим заднюю комнатку в пансионе миссис Сойер. Этот самый мистер Гендерсон — крошечный старичишка весьма крутого нрава; когда-то он рыл поисковые скважины в Оклахоме, а сейчас ему лет под семьдесят, и, как многие старики, он буквально помешан на отправлениях своего организма. Вдобавок он горький пьяница. Однажды он пил запоем целых две недели, и только услышит, бывало, что мисс Боббит и сестрица Розальба прохаживаются по двору, как сразу взбегает по лестнице на самый верх и оттуда орет хозяйке, что в стенах завелись карлицы и хотят извести всю его туалетную бумагу. Вот уже на пятнадцать центов украли.

Как-то вечером, когда девочки сидели во дворе под тутовым деревом, мистер Гендерсон выскочил из дому в одной ночной рубашке и стал за ними гоняться. Ах так, орет, задумали у меня всю туалетную бумагу разворовать? Ну я вам покажу, карлицы окаянные! Эй, кто-нибудь, помогите, не то эти сучонки всю бумагу в городе разворуют, до последнего листочка!

Билли Бобу и Причеру удалось схватить Гендерсона, и они крепко держали его, покуда не подросли взрослые и не стали его вязать. Тогда мисс Боббит, которая держалась с изумительным хладнокровием, объявила мужчинам, что никто из них толком узла завязать не умеет, взялась за дело сама и сделала его на славу — у Гендерсона онемели руки и ноги, он потом целый месяц шага сделать не мог.

Вскоре после этой истории мисс Боббит нанесла нам визит. Явилась она в воскресенье. Я был в доме один, вся семья ушла в церковь.

— В церкви такой невыносимый запах, — сказала она и, слегка подавшись вперед, чинно сложила руки на коленях. — Впрочем, мне не хотелось бы, мистер К., чтобы вы сочли

меня язычницей. У меня достаточно опыта, и я знаю — Бог есть, и дьявол есть тоже. Но дьявола не приручишь, если ходить в церковь и слушать про то, какой он дурак и мерзкий грешник. Нет, возлюбите дьявола, как вы возлюбили Иисуса. Потому что он могущественная личность и, если узнает, что вы ему доверились, окажет вам услугу. Мне, например, он нередко оказывает услуги — вот как в балетной школе в Мемфисе... Я все время взывала к дьяволу, чтобы он помог мне получить самую главную роль в ежегодном спектакле. И это благоразумно: видите ли, я понимаю, что Иисуса танцы ни капельки не интересуют. Да в сущности, я взывала к дьяволу совсем недавно — только он может помочь мне выбраться из этого городишка. Я ведь не здесь живу, если говорить точно. Мыслями я все время в каком-то другом, совсем другом месте, где все так красиво и все танцуют, знаете, как люди танцуют на улицах, и все такие славные, как дети в свой день рождения. Мой бесценный папочка говорил, что я витаю в облаках, но если б он сам почаще витал в облаках, он бы разбогател, как ему того хотелось. В том-то и беда с моим папочкой — вместо того чтобы самому возлюбить дьявола, он дал дьяволу возлюбить себя. А я на этот счет большой молодец; я знаю: выход, который кажется нам не самым лучшим, а чуть похуже, очень часто как раз и есть самый лучший. Переезд в этот городишко — для нас не самый лучший выход, но раз уж я не могу продолжать здесь свою карьеру танцовщицы, значит, мне надо делать какой-нибудь маленький побочный бизнес. Именно этим я и занялась. Я единственный в округе агент по подписке на «Популярную механику», «Детектив на пятак», «Детскую жизнь» и другие журналы — весьма внушительный список. Право же, мистер К., я сюда не за тем явилась, чтобы что-нибудь вам навязать. Но есть у меня на уме одна мысль. Я так подумала: эти два мальчика, которые вечно здесь толкуются... Меня осенило — ведь они как-никак мужчины! Как вы полагаете, смогут они быть хорошими помощниками в моем деле?

Билли Боб и Причер трудились для мисс Боббит не за страх, а за совесть. И для сестрицы Розальбы тоже: она открыла торговлю каким-то косметическим снадобьем под названием «Росинка», и в их обязанности входило доставлять покупки ее клиенткам. К вечеру Билли Боб до того изматывался, что едва мог проглотить свой ужин. Тетя Эл говорила — это же ужас, на него смотреть жалко; и вот как-то раз, когда с Билли Бобом случился солнечный удар и он еле добрал до дома, она объявила — ну, теперь все, придется ему расстаться с мисс Боббит. Но Билли Боб стал ругаться на чем свет стоит, и отцу пришлось запереть его; тогда он сказал, что покончит жизнь самоубийством. Наша бывшая кухарка говорила ему, что если наестся капусты, хорошенько сдобренной черной патокой, то угодишь на тот свет — это как пить дать. Так он и сделал. Я умираю! — вопил он, катаясь по кровати. — Я умираю, а всем наплевать!

Пришла мисс Боббит и велела ему умолкнуть.

— Ничего страшного у тебя нет, мальчик. Боль в животе, только и всего, сказала она.

Потом все с него сорвала и с головы до ног крепко растерла спиртом. Тетя Эл, ужасно шокированная, сказала ей, что девочке это как-то не пристало, на что мисс Боббит ответила:

— Не знаю, пристало или не пристало, но, безусловно, очень освежает.

После чего тетя Эл сделала все, что было в ее силах, чтобы Билли Боб перестал работать на мисс Боббит, но его отец сказал — надо оставить мальчика в покое, пусть живет своей жизнью.

Мисс Боббит была весьма щепетильна в отношении денег. Комиссионные Билли Бобу и Причеру она выплачивала с величайшей точностью и никогда не позволяла им платить за нее в аптеке-закусочной и в кино, хоть они и порывались.

— Лучше поберегите деньги, — говорила она. — То есть если вы собираетесь поступать в колледж. Потому что у вас у обоих мозгов не хватит, чтоб получить стипендию, — хотя бы ту, что дают футболистам.

Но именно из-за денег у Билли Боба с Причером вышла жуткая ссора. Суть, конечно, была не в деньгах: суть была в том, что они бешено ревновали друг к другу мисс Боббит. Словом, в один прекрасный день Причер ей заявил — и у него еще хватило наглости сделать это прямо в присутствии Билли Боба, — пусть она ведет свою бухгалтерию повнимательней,

а то у него есть подозрение, что Билли Боб отдает ей не все деньги, которые собирает, и это не просто подозрение. Подлая ложь! — воскликнул Билли Боб. Чистым левым хуком он сбросил Причера с сойеровской веранды и прыгнул вслед за ним на грядку с настурцией. Но когда Причер его обхватил, Билли Бобу было уже не сладить с ним. Причер даже песок ему втер в глаза.

Во время всей этой катавасии миссис Сойер, свесившись из окна верхнего этажа, издавала пронзительный орлиный клекот, а сестрица Розальба в полном упоении выкрикивала: убей его! убей! убей! Кого она имела в виду — непонятно. Одна только мисс Боббит, по-видимому, точно знала, что ей делать: она открыла шланг для поливки и, подбежав к мальчишкам вплотную, хорошенько их окатила. Причер с трудом поднялся на ноги, громко пыхтя. Ох, радость моя, сказал он, отряхиваясь, словно мокрый пес, радость моя, ты должна сделать выбор.

— Какой выбор? — сердито оборвала его мисс Боббит.

Ох, радость моя, просипел Причер, не хочешь же ты, чтобы мы с Билли Бобом поубивали друг друга. Вот и реши, который из нас взаправду твой миленок.

— Миленок, скажите, пожалуйста! — фыркнула мисс Боббит. — И как я только могла связаться с деревенскими ребятами? Ну какие из вас выйдут бизнесмены? А теперь слушай, Причер Стар: не нужно мне никакого миленка, но уж если бы я его завела, это был бы не ты. О чем говорить, ты даже не встаешь, когда в комнату входит дама.

Причер сплюнул себе под ноги и вразвалочку подошел к Билли Бобу. Пошли, сказал он, как ни в чем не бывало, пошли, деревяшка она, и больше никто; ей только одного надо — хороших друзей перессорить.

На какой-то момент показалось, что сейчас Билли Боб и Причер удалятся в мирном согласии, но Билли Боб, вдруг спохватившись, подался назад и замотал головой. Долгую минуту глядели они друг на друга, и близость их переходила в другую, уродливую, форму — ведь ненавидеть с такою силой можно только того, кого любишь. Все это было написано у Причера на лице. Но ему ничего другого не оставалось, как уйти. Да, Причер, такой ты был потерянный в тот день, что я впервые почувствовал к тебе настоящую симпатию — такой худющий, гадкий, потерянный брел ты по улице и до того одинокий.

Они так и не помирились, Билли Боб с Причером: и не то чтобы им не хотелось мириться, только вот не было какого-то простого способа возобновить дружбу. Но и покончить с этой дружбой они не могли; один всегда знал, что затевает другой, а когда Причер завел себе нового друга, Билли Боб целыми днями места себе не находил: то за одно возьмется, то за другое, и все валится у него из рук, а то вдруг выкинет какой-нибудь дикий номер, — скажем, нарочно засунет палец в электрический вентилятор. По вечерам Причер иногда останавливался у нашей калитки поболтать с тетей Эл. Он оставался со всеми нами в дружеских отношениях, — я думаю, только для того, чтобы помучить Билли Боба, — и даже преподнес нам на рождество огромную коробку очищенного арахиса. Он и для Билли Боба оставил подарок, — оказалось, что это книжка про Шерлока Холмса, и на первом листе нацарапано: Если ты, неверный друг, для тебя найдется сук. Сроду не видел такой муры, сказал Билли Боб, господи, вот балда! Но потом, хотя день был холодный, он убежал на задний двор, залез на pekanовое дерево и до самого вечера просидел, скорчившись, в его декабрьски синеватых ветвях.

Но вообще-то он ходил счастливый — ведь у него была мисс Боббит, а теперь она стала с ним очень мила. Обе они с сестрицей Розальбой обращались с ним, как с мужчиной, — то есть милостиво разрешали все для них делать. Зато они проигрывали ему в бридж, никогда не уличали его во лжи и не расхолаживали, когда он делился с ними своими заветными мечтами. Счастливая это была пора. Но с началом школьных занятий пошли новые беды. Мисс Боббит отказалась учиться.

— Это смешно, право же, смешно, — заявила она директору школы мистеру Копленду, когда он зашел, чтобы выяснить, почему она не является на занятия. Я умею читать и писать, и кое у кого здесь, в городе, были все основания убедиться, что я умею считать деньги. Нет,

мистер Копленд, поразмыслите-ка минутку, и вы сами поймете, что ни у вас, ни у меня нет на это ни времени, ни энергии. В конце концов дело только в том, кто из нас первый дрогнет духом вы или я. Да и потом, чему вы можете меня научить? Вот если б вы что-нибудь понимали в танцах, тогда другое дело, но при данных обстоятельствах, да, мистер Копленд, при данных обстоятельствах, на мой взгляд, нам обоим лучше предать это дело забвению.

Мистер Копленд, со своей стороны, вполне готов был предать дело забвению. Но весь город считал, что мисс Боббит следует хорошенько всыпать. Хорейс Дизли прислал в нашу местную газету статью под заголовком «Трагическая ситуация». Создается поистине трагическая ситуация, писал он, если какая-то девчонка может игнорировать конституцию Соединенных Штатов, — почему-то он выразился именно так. Статья кончалась вопросом: «Можем ли мы допустить, чтобы это сошло ей с рук?»

Но все-таки это сошло ей с рук. И сестрице Розальбе тоже. Впрочем, так как Розальба была цветная, всем было решительно наплевать, учится она или нет. А вот Билли Бобу не удалось так счастливо отделаться. Пришлось-таки ему ходить в школу. Но толку от этого было мало, он мог бы с таким же успехом сидеть дома. В первом же табеле у него красовались три плохие отметки — своего рода рекорд. Но вообще-то он парень смысленный, и я думаю, ему просто было невмоготу столько часов подряд не видеть мисс Боббит; без нее он всегда был какой-то полусонный. И вечно лез в драку — то придет с фонарем под глазом, то с разбитой губой, то вдруг захромает. Насчет этих драк он никогда не распространялся, но мисс Боббит была достаточно проницательна, чтобы догадаться, в чем тут дело.

— Я знаю, знаю, ты сокровище. И я тебя очень ценю, Билли Боб. Только не надо лезть из-за меня в драку. Конечно, люди болтают про меня всякие гадости. А знаешь почему? Ведь это комплимент своего рода. Потому что в глубине души они считают, что я просто замечательная.

И она была права: ведь если никто вами не восхищается, кому интересно вас ругать?

Но, по сути дела, мы и понятия не имели, какая она замечательная, пока в наших краях не объявился один тип, назвавшийся Мэнни Фоксом. Дело было в конце февраля. Впервые мы узнали о Мэнни Фоксе из зазывных афиш, расклеенных во всех лавках города:

ПОКАЗЫВАЕТ МЭННИ ФОКС

ТАНЕЦ ЖИВОТА — ДЕЙСТВУЕТ ЖИВОТВОРНО

А внизу помельче:

Сенсационная любительская программа
выступают ваши соседи.
Первая премия — гарантированная кинопроба
в Голливуде

Все это должно было состояться в следующий четверг. Входная плата — один доллар; по местным масштабам — целое состояние, но подобного рода греховные развлечения у нас здесь такая редкость, что все раскошелились, и вообще вокруг этой затеи поднялась страшная кутерьма. Шалопаи, работавшие под ковбоев и целыми днями прохлаждавшиеся в аптеке-закусочной, всю неделю изощрались в похабщине — главным образом, по адресу исполнительницы танца живота, которая оказалась не кем иным, как миссис Мэнни Фокс. Остановились Фоксы за городской чертой, в Чеклвудском туристском кемпинге, но весь день проводили в городе, разъезжая в старом «паккарде», на всех четырех дверцах которого было

выведено полное имя Фокса. Своей штаб-квартирой они сделали бильярдную, и под вечер их всегда можно было там застать — они потягивали пиво и перебрасывались шуточками с нашими городскими лоботрясами. Как выяснилось в дальнейшем, сфера деловой активности Мэнни Фокса не ограничивалась театральными представлениями. У него была еще своего рода контора по найму: исподволь он дал понять, что за вознаграждение в сто пятьдесят долларов может обеспечить любому предприимчивому парню в округе классную работенку на грузовых судах «Юнайтед фрут», курсирующих между Новым Орлеаном и Южной Америкой. Шанс, какой выпадает только раз в жизни, — так он выражался. У нас тут не найдется и двух ребят, которые могли бы набрать без труда хоть пять долларов, и все же человек десять умудрились наскрести нужную сумму. Ада Уиллингем отдала сыну все, что сумела скопить на мраморного ангела, которого ей хотелось поставить на могиле мужа, а отец Эйси Трампа продал свою привилегию на закупку хлопка.

Да, но что творилось в день представления! В этот день было забыто все — и закладные, и тарелки в кухонной раковине. Можно подумать, будто мы собираемся в оперу, сказала тетя Эл, — все так нарядились, раздурянились, от всех так хорошо пахнет. Давно уже «Одеон» не знал такого наплыва публики... Почти у каждого кто-нибудь из родных участвовал в любительской программе, так что волнений было много. Из всех выступающих мы знали толком одну мисс Боббит. Билли Боб весь извертелся: он снова и снова повторял нам, чтобы мы не хлопали никому, кроме мисс Боббит, но тетя Эл сказала — это было бы очень невежливо, и тут на него опять накатило, а когда его отец купил нам всем по мешочку поджаренных кукурузных зерен, он к своему и не прикоснулся — сказал, что боится засалить руки, и потом, чтобы мы, Бога ради, не шумели и не вздумали грызть кукурузу, когда на сцену выйдет мисс Боббит.

То, что она участвует в конкурсе, вообще-то было для нас полнейшим сюрпризом. Правда, этого можно было ожидать, да мы и сами могли б догадаться по некоторым признакам — хотя бы по тому, что вот уже сколько дней она носу не высовывала за калитку, и по звукам виолы, игравшей до глубокой ночи, и по тени, кружившейся на шторе, и по таинственному, важному виду, который принимала сестрица Розальба всякий раз, как у нее спрашивали о здоровье сестрицы Боббит. Одним словом, имя ее значилось в программе, но, хотя оно стояло вторым, не появлялась она очень долго. Сперва вышел Мэнни Фокс, сверкая напомаженной головой и шныряя глазами; он долго рассказывал анекдоты для курящих, похлопывая в ладоши и гогоча. Тетя Эл объявила, — если он расскажет еще один такой анекдот, она тут же уходит. Рассказать-то он рассказал, но уйти она не ушла. До мисс Боббит выступило одиннадцать человек, среди них — Юстасия Бернстайн, изображавшая кинозвезд (так, что все они смахивали на Юстасию), и совершенно неподобный старикан, некий мистер Бастер Райли, лопоухий деревенщина, сыгравший на пиле «Вальс Матильды». Пока что номер его оставался гвоздем программы, хотя, в общем-то, публика оказывала участникам конкурса довольно ровный прием: все хлопали щедро; все — это значит все, кроме Причера Стара. Он сидел на два ряда впереди нас и каждое выступление встречал возмущенным ослиным ревом. Тетя Эл сказала: с этого дня она с ним больше не разговаривает. Аплодировал он только мисс Боббит.

Несомненно, на сей раз дьявол действовал с ней заодно, и она того заслуживала. Вихрем вылетела она на сцену, потряхивая локонами, вращая глазами, покачивая бедрами. Мы сразу поняли, что это будет номер не из ее классического репертуара. Она прошла через сцену, изысканным жестом приподнимая на бедрах пышную, словно облако, голубую юбочку. Вот это лихо, сроду такого не видел, сказал Билли Боб и хлопнул себя по ляжке, и тете Эл пришлось согласиться, что мисс Боббит и вправду выглядит просто прелестно. Она закружилась по сцене, и публика разразилась аплодисментами. А она все кружилась, кружилась и только шипела «быстрее, быстрее!» аккомпанировавшей ей на рояле мисс Аделаиде, хотя та, бедняга, и так старалась изо всех сил.

Я родилась в Китае,
Но Япония — мой дом...

До тех пор мы ни разу не слышали, как она поет; оказалось, что голос у нее резкий, царапающий, как наждак.

...Коль товар мой не по вкусу,
Лучше вам забыть о нем! Э-эй! Э-эй!

Тетя Эл даже задохнулась. Потом она задохнулась вторично — это когда мисс Боббит, бойко топнув, задрала юбочку и выставила на всеобщее обозрение голубые гипюровые штанишки, в результате чего на ее долю достались почти все одобрительные свистки, приберегавшиеся парнями для исполнительницы танца живота. (Впрочем, как мы убедились в дальнейшем, та тоже не сплеховала — под звуки популярной песенки «Яблочко для учительницы» и возгласы «гип-гип!» дама эта проделала все, что положено, в одном купальнике.)

Но на том, что мисс Боббит продемонстрировала свою попку, триумф ее не кончился. Под руками мисс Аделаиды зловеще загремели басы, на сцену выскочила сестрица Розальба с зажженной римской свечой и сунула ее в руки мисс Боббит, делавшей шпагат; он тоже ей удался, и в тот самый момент, когда она села на пол, свеча рассыпалась каскадом красных, синих и белых шаров, и нам всем пришлось встать, потому что мисс Боббит во всю глотку запела «Полосато-звездное знамя». Тетя Эл говорила потом — это было одно из самых пышных зрелищ, какие ей довелось видеть на американской сцене.

Словом, мисс Боббит, бесспорно, заслуживала кинопробы в Голливуде, а так как она вышла победительницей на конкурсе, похоже было, что дело на мази. Мэнни Фокс так и сказал ей: детка, сказал он, вы из того самого теста, из какого делаются кинозвезды. Но на другой день он смылся, наобещав своим подопечным с три короба. Следите за почтой, друзья мои, я всем вам дам знать. Так он сказал ребятам, у которых взял деньги, и так он сказал мисс Боббит. Письма у нас доставляются три раза в день, и каждый раз на почте собиралось порядочно народу — веселая ватага, оживление которой мало-помалу угасало. Как тряслись у мальчишек руки всякий раз, когда в их почтовый ящик падало письмо! Но дни шли, и молчаливый ужас сковывал их все сильнее. Каждому было ясно, что думают другие, но никто не осмеливался произнести это вслух, даже мисс Боббит. Впрочем, почтмейстерша Паттерсон высказалась начистоту: этот тип — мошенник, сказала она, я с первого дня поняла, что он мошенник, и, если мне еще хоть день придется глядеть на ваши физиономии, я застрелюсь.

Наконец, к исходу второй недели заклятие было снято — не кем иным, как мисс Боббит.

Все это время взгляд у нее был совершенно отсутствующий — никто бы и не подумал, что она бывает такая, — но в один прекрасный день, после того как была разобрана вечерняя почта, к мисс Боббит снова вернулась ее кипучая энергия.

— Ну так, мальчики. Теперь вступает в действие закон джунглей, — объявила она и увела всю ватагу к себе домой.

Там состоялось учредительное собрание Клуба вешателей Мэнни Фокса, каковая организация в несколько более цивилизованном виде существует и по сей день, хотя Мэнни Фокса давным-давно удалось изловить и, выражаясь фигурально, повесить. А в том, что это удалось, — прямая заслуга мисс Боббит. За неделю она настрочила свыше трехсот писем с описанием примет Мэнни Фокса и разослала их всем шерифам Юга; кроме того, она написала в газеты всех более или менее крупных городов, и письма ее привлекли внимание

широкой публики. В результате «Юнайтед фрут компани» предложила четверем из жертв Мэнни Фокса хорошо оплачиваемую работу, а поздней весной, когда Фокс был арестован в Апхае, штат Арканзас, где он пытался проделать все тот же старый трюк, организация «Лучезарные девушки Америки» представила мисс Боббит к медали «За доброе дело». Но по какой-то причине мисс Боббит постаралась оповестить всех и вся, что она отнюдь не в восторге.

— Мне не нравится эта организация, — заявила она. — Трубят в горн что есть мочи. Ничего веселого тут не вижу, и вообще это неженственно. И вообще — что такое доброе дело? Не давайте себя одурачивать — всякое доброе дело делается для того, чтобы что-нибудь получить взамен.

Как отрадно было бы сообщить здесь, что она ошибалась и что другая, желанная награда, когда она наконец получила ее, была вручена ей от чистого сердца, в знак любви. Но на самом деле это было не так. С неделю назад все ребята, которых обжулил Мэнни Фокс, получили от него чеки в возмещение понесенных убытков, и мисс Боббит весьма решительно прошествовала на заседание клуба. (Заседания эти и поныне служат кой для кого предлогом, чтобы по четвергам весь вечер дуться в покер и наливать пивом.) Мисс Боббит сразу взяла быка за рога.

— Вот что, мальчики, — сказала она, — никому из вас и во сне не снилось когда-нибудь снова увидеть эти деньги, но раз уж вы их получили, вам надо вложить их в какое-нибудь реальное дело, — скажем, в меня.

Предложение ее заключалось в следующем: они сложатся и оплатят ее поездку в Голливуд; за это она обязуется пожизненно выплачивать им десять процентов от своих гонораров, и значит, когда она станет звездой — а этого ждать недолго, все они будут богатыми людьми.

— Во всяком случае, по местным понятиям, — добавила она.

Никому из мальчишек не хотелось расставаться с деньгами, но когда мисс Боббит смотрит тебе в глаза, что тут поделаешь?

...С понедельника сыплет летний дождик, днем веселый, пронизанный солнцем, но по ночам мрачный и полный звуков — стука капель по листьям, перезвона струй, незатихающего тревожного топотка.

Билли Боб — начеку, и глаза у него сухие, но все эти дни он какой-то замороженный, и язык у него не ворочается, будто это язык колокола. Нелегкая для него штука — отъезд мисс Боббит. Потому что она была для него не только безумной мальчишеской любовью, но чем-то гораздо большим. Так чем же? Да все его странности — и то, что он удирал на пекановое дерево, и то, что любил книги, и то, что настолько считался с людьми, что позволял им себя обижать, все это была она. И то, что он боязливо таил от всех, кроме нее, — это тоже была она. А в темноте струилась сквозь дождь отдаленная музыка. Ведь будут такие ночи, когда мы услышим эту музыку так ясно, словно и впрямь через дорогу играет виолончель. И ранние вечера, когда вдруг смешаются тени и она красиво развертывающейся лентой пройдет перед нами по лужайке. Она улыбалась Билли Бобу, брала его за руку, даже поцеловала его.

— Я же не собираюсь умирать, — говорила она. — Ты приедешь ко мне, и мы уйдем на высокую гору, и проживем там все вместе: ты, и я, и сестрица Розальба.

Но Билли Боб знал, этому не бывать, и, когда сквозь тьму доносилась музыка, засовывал голову под подушку.

А вчера день вдруг улыбнулся странной улыбкой, и это как раз был день ее отъезда. Около полудня появилось солнце и принесло с собой ласковый запах глицинии. Снова цвели желтые розы тети Эл, и она поступила замечательно сказала Билли Бобу, что он может их срезать и подарить мисс Боббит на прощание. До самого вечера мисс Боббит просидела у себя на веранде, и все время вокруг нее толпились люди — они заходили пожелать ей всего хорошего. Казалось, она собралась к причастию — в белом платье, в руках белый зонт. Сестрица Розальба подарила ей носовой платок, но тут же его позаимствовала она все

плакала и никак не могла остановиться. Другая девчушка принесла жареного цыпленка — на дорогу; одно было плохо — она позабыла его выпотрошить. Но мать мисс Боббит сказала — что ж, это ничего: цыпленок есть цыпленок; слова знаменательные, если учесть, что это было единственное мнение, когда-либо высказанное ею.

Лишь одно омрачало всем настроение: вот уже сколько часов Причер Стар околачивался на углу — то играл в расшибалочку на тротуаре, то прятался за дерево, словно хотел остаться незамеченным. Всех это очень нервировало. Минут за двадцать до прихода автобуса он вразвалку подошел к нашему дому и встал у калитки, прислонившись к ней лбом. Билли Боб все еще срезал розы в саду: он набрал уже столько, что хватило бы на огромный костер, и их запах был плотным, как ветер. Причер смотрел на Билли Боба, пока тот не поднял головы. И покуда они глядели друг на друга, снова стал сеяться дождик, тонкий, как водяная пыль над морем, и расцветенный радугой. Ни слова не говоря, Причер подошел к Билли Бобу, помог ему разделить розы на два большущих букета, и они вместе вышли за калитку. На той стороне улицы шмелями гудели разговоры, но когда мисс Боббит увидела их, двух мальчиков, чьи лица, скрытые букетами роз, были как желтые луны, она сбежала по ступенькам веранды и бросилась через дорогу, протягивая к ним руки. Мы поняли, что сейчас произойдет, и мы закричали, наш крик, словно молния, прорезал завесу дождя, но мисс Боббит, бежавшая к лунно-желтеющим розам, казалось, не слышала нас. Вот тогда-то шестичасовой автобус и переехал ее.

Злой дух

перевод Р. Облонской

Стук собственных каблучков по мраморному полу в холле навел ее на мысль о кубиках льда, позвякивающих в стакане, и о цветах, о тех осенних хризантемах в вазе у входа, которые, едва их тронешь, рассыплются прахом, студеной пылью; а ведь в доме тепло, даже слишком, и все же это холодный дом (Сильвия вздрогнула), холодный, как эта снежная пустыня — надутая физиономия секретарши, мисс Моцарт, она вся в белом, точно сиделка. А может, она и вправду сиделка, тогда все сразу стало бы на место. Вы сумасшедший, мистер Реверкомб, а она за вами присматривает. Но нет, едва ли... В эту минуту дворецкий подал ей шарф. Его красота тронула ее — стройный, такой обходительный негр, в веснушках, а глаза красноватые, бездумные. Когда он отворял дверь, появилась мисс Моцарт, ее накрахмаленный халат сухо прошелестел в прихожей.

— Надеюсь, мы вас видим не в последний раз, — сказала она и вручила Сильвии запечатанный конверт. — Мистер Реверкомб крайне вам признателен.

На дворе синими хлопьями опускались сумерки; по ноябрьским улицам Сильвия дошла до пустынного безлюдного конца Пятой авеню, и тут ей подумалось, что можно ведь пойти домой через парк — это почти вызов Генри и Эстелле, с их мудрыми советами, как вести себя в таком большом городе, вечно они ей твердят: Сильвия, ты не представляешь, как опасно ходить через парк вечером, вспомни, что случилось с Мертл Кейлишер. И еще они говорят — это тебе не Истон, милочка... Говорят, говорят... Господи, до чего надоело. И однако, если не считать машинисток, с которыми она вместе работает в фирме, торгующей нижним бельем, кого она еще знает в Нью-Йорке? А, все бы ничего, если б только не жить с ними под одной крышей, если б только хватило денег снять где-нибудь комнату; но там, в этой тесной, ситцевой квартирке, она подчас, кажется, готова задушить их обоих. И зачем только она приехала в Нью-Йорк? Но каков бы ни был повод, не все ли равно, теперь не вспомнишь, а уехала она из Истона, прежде всего чтобы избавиться от Генри и Эстеллы, вернее, от их двойников, правда. Эстелла тоже родом из Истона, городка севернее Цинциннати. Они с Сильвией вместе росли. Самое ужасное — это как Генри и Эстелла ведут себя друг с другом, просто смотреть тошно. Эдакое жеманство, эдакие муси-пуси, и всё в

доме окрестили на свой лад: телефон — тилли-бом, тахта — наша Нелл, кровать — Медведица, да-да, а как вам понравятся эти полотенца и подушки — мальчики и девочки? Господи, да от одного этого можно спятить.

— Спятить, — громко сказала она, и тихий парк поглотил ее голос.

Славно здесь. Хорошо, что она пошла через парк: ветерок колышет листья, в свете круглых фонарей, что зажглись совсем недавно, вспыхивают ребячьи рисунки цветными мелками на асфальте — розовые птицы, синие стрелы, зеленые сердца. Но вдруг, точно два похабных слова, на дорожке выросли двое парней — прыщавые, ухмыляющиеся, они возникли из темноты, будто два грозных огненных языка, и, когда Сильвия проходила мимо, ее словно ожгло. Они повернули и пошли за ней, вдоль безлюдной спортплощадки, один колотил палкой по железной оgrade, другой свистел; звуки эти наступали на нее, точно грохот приближающегося локомотива, и, когда один из парней с хохотом крикнул: «Эй, чего несешься?», у нее перехватило дыхание. Не смей, приказала она себе, чувствуя, что вот-вот бросит сумочку и кинется бежать. Но тут на боковой дорожке показался человек, прогуливающий собаку, и Сильвия пошла за ним и шла до самого выхода. Интересно, если рассказать об этом Генри и Эстелле, они, наверно, будут торжествовать, мол, мы же тебе говорили? Да еще Эстелла напишет домой, оглянуться не успеешь, а уж весь Истон болтает, что тебя изнасиловали в Центральном парке. Весь оставшийся путь до дому Сильвия презирала Нью-Йорк: безликость, добродетельные страхи; гудят водопроводные трубы, ночь напролет горит свет, и непрерывный топот как шарканье ног, коридор — туннель подземки, нумерованная дверь.

— Ш-ш, милочка, — сказала Эстелла, выскользнув из кухни, — Пуся занимается.

И правда, Генри, который изучал право в Колумбийском университете, прилежно сгорбился над книгами, и Сильвия, по просьбе Эстеллы, скинула туфли и прошла через гостиную на цыпочках. У себя в комнате она бросилась на постель и закрыла глаза руками. Да был ли он, сегодняшний день? Неужто в высоком доме на Семьдесят восьмой улице она и в самом деле говорила с мисс Моцарт и мистером Реверкомбом?

— Ну, какие новости, милочка? — В комнату без стука вошла Эстелла.

Сильвия приподнялась на локте:

— Да никаких. Напечатала девяносто семь писем, только и всего.

— О чем же, милочка? — спросила Эстелла, приглаживая волосы щеткой Сильвии.

— О господи, ну о чем, по-твоему, они могут быть? Шорты нашей фирмы верой и правдой служат виднейшим деятелям науки и промышленности.

— Ну-ну, милочка, не злись! Ума не приложу, что это на тебя находит. Ты так злишься. Ой, отчего ты не купишь новую щетку? В этой полно волос.

— Главным образом твоих.

— Что ты сказала?

— Неважно.

— А мне слышалось, ты что-то сказала. Так вот, я всегда говорю, хоть бы тебе не ходить в эту контору, тогда бы ты не злилась и не возвращалась домой сама не своя. Лично я вот что думаю, я только вчера вечером говорила об этом Пусе, и он со мной согласен на все сто процентов. Пуся, говорю, по-моему, Сильвии нужно выйти замуж: если девушка такая нервная, ей требуется разрядка. И в самом деле, ну почему бы тебе не выйти замуж? Понимаешь, тебя, может, хорошенькой и не назовешь, но у тебя красивые глаза и взгляд умный и такой искренний. В общем, любой адвокат, учитель, врач рад будет заполучить такую жену. И я думаю, тебе это было бы на пользу... Ты только погляди, ведь с тех пор, как я вышла за Генри, я будто заново на свет родилась. Неужто ты не чувствуешь себя одинокой, когда глядишь на наше счастье? Можешь мне поверить, милочка, это ни с чем не сравнимое ощущение, когда лежишь ночью в объятиях мужчины и...

— Эстелла! Бога ради! — Сильвия порывисто села на постели, щеки вспыхнули гневом, точно нарумяненные. Но тотчас же прикусила губу и опустила глаза. — Извини, — сказала она, — я не сдержалась. Только, пожалуйста, больше не будем об этом.

— Как хочешь, — сказала Эстелла, тупо и ошарашенно улыбаясь. Потом подошла и поцеловала Сильвию. — Я понимаю, милочка. Просто ты переутомилась. И даю голову на отсечение, у тебя за весь день маковой росинки во рту не было. Пойдем в кухню, я поджарю тебе яичницу.

Когда Эстелла поставила на стол яичницу, Сильвия почувствовала себя пристыженной: в конце концов, Эстелла ведь старается ради ее же блага. И, желая как-то загладить свою резкость, она сказала:

— Сегодня у меня и вправду есть новости.

Эстелла налила себе кофе и села напротив.

— Не знаю, как и рассказать, — продолжала Сильвия. — Это так чудно. В общем, я завтракала сегодня в кафе-автомате, и за моим столиком сидели трое мужчин. Они говорили о своем, да так, будто я в шапке-невидимке. Один сказал — его подружка ждет ребенка и он не знает, где достать денег, чтобы что-то предпринять. Другой спросил: а может, тебе что-нибудь продать? Он ответил: да продавать-то нечего. Тогда третий (с довольно тонким лицом, с виду совсем из другого теста, чем те двое) сказал: нет, у тебя найдется что продать — сны. Я и то рассмеялась, но он покачал головой и так серьезно сказал: да-да, это чистая правда, тетка его жены, мисс Моцарт, работает у одного богатого человека, который скупает сны, самые обыкновенные ночные сны, скупает у всех без разбору. И он написал имя этого человека и адрес и отдал своему приятелю. Но приятель оставил бумажку на столе. Уж больно попахивает сумасшедшим домом, сказал он.

— По-моему, тоже, — тоном оскорбленной добродетели вставила Эстелла.

— Не знаю, — сказала Сильвия, закуривая. — А у меня это не шло из ума. На бумажке стояло имя — Реверкомб и адрес — Восточная Семьдесят восьмая улица. Я только мельком взглянула, но... Не знаю, адрес застрял в памяти, прямо как заноза. Даже голова разболелась. Так что я пораньше ушла с работы и...

Медленно, со значением Эстелла отставила чашку:

— Уж не хочешь ли ты сказать, милочка, что ходила к этому психу?

— Да я и не думала. — Сильвия вдруг пришла в замешательство. Напрасно она стала рассказывать. У Эстеллы нет воображения, ей нипочем не понять. И тут глаза у Сильвии сузились — так бывало всякий раз, когда она готовилась солгать. — И вовсе я не ходила, — решительно заявила она. — Хотела было пойти, но потом поняла, что это глупо, и просто прошлась пешком.

— Вот и умница, — сказала Эстелла, принимаясь складывать посуду в мойку. — Только подумай, чем бы это могло кончиться. Покупать сны! Слыханное ли дело! Да, да, дружок, это ведь и вправду не Истон.

Перед сном Сильвия приняла секонал; она не часто прибегала к снотворным, но сегодня иначе не уснуть: в голове такая сумятица, все мысли кувырком, да еще какая-то странная печаль одолела, ощущение утраты, словно ее и вправду обокрали, словно повстречавшиеся в парке молодчики выхватили у нее сумочку. (Она поспешно зажгла свет.) А конверт, который ей вручила мисс Моцарт... он ведь в сумочке, она про него совсем забыла! Сильвия разорвала конверт. Внутри лежала голубая бумажка, а в ней — чек; на бумажке написано: плата за один сон — пять фунтов. Значит, так и есть, она и в самом деле продала мистеру Реверкомбу свой сон. Неужели это так просто? Сильвия тихонько засмеялась и снова погасила свет. Подумать только, что можно бы себе позволить, если продавать всего два сна в неделю: можно снять отдельную комнату и ни от кого не зависеть, думала она, засыпая; точно теплом из камина, ее обволокло покоем, а потом вспыхнули, сбивчиво замелькали в свете волшебного фонаря неясные картинки, она все глубже погружалась в таинство сна... К ней тянулись его губы, охватывали холодные руки... она с отвращением отбросила ногой одеяло. Так это и есть те мужские объятия, о которых говорила Эстелла? Мистер Реверкомб все же вторгся в ее сон, и губы его коснулись ее уха. «Расскажешь?» — прошептал он.

Прошла неделя, прежде чем она отправилась к нему снова — в воскресенье днем, в

самом начале декабря. Она собралась было в кино, но почему-то, сама того не заметив, оказалась на Мэдисон-авеню, в двух кварталах от дома мистера Реверкомба. Был один из тех холодных дней, когда небо морозно серебрится и порывами налетает резкий ветер, колючий, точно розовый куст; в витринах среди россыпей снежных блесков мерцала рождественская мишура, и на душе у Сильвии стало черным-черно: она терпеть не могла праздники, дни, когда всего острее ощущаешь свое одиночество. Перед одной из витрин она встала как вкопанная. В неистовом электрическом веселье, хватаясь за живот, покатывался со смеху механический Санта-Клаус в человеческий рост. Из-за толстого стекла доносился его визгливый безудержный хохот. Чем дальше стояла перед ним Сильвия, тем более зловещим казался ей этот гогочущий манекен; ее передернуло, она отвернулась наконец от этого зрелища и пошла на улицу, где жил мистер Реверкомб. Снаружи дом его ничем не выделялся — обыкновенный городской дом, разве что не такой элегантный, не такой внушительный, как некоторые другие, но все равно достаточно внушительный. Побитый холодом плющ корчился на свинцовых переплетах окон и точно спрут нависал щупальцами над дверью; а по бокам ее два небольших каменных льва глядели на мир слепыми глазами. Сильвия перевела дух и позвонила. Тускло-черный очаровательный негр встретил ее учтивой улыбкой, как старую знакомую.

В прошлый раз в гостиной, где она дожидалась приема, кроме нее, не было никого. Сегодня здесь оказались и другие посетители: несколько женщин разного возраста и наружности и один чрезвычайно взволнованный молодой человек, глаза у него были как у загнанного зверя. Будь эти люди и в самом деле теми, на кого они походили, то есть пациентами в приемной врача, можно было бы подумать, что молодой человек либо ожидает рождения первенца, либо страдает пляской святого Вита. Сильвия села подле него, и его беспокойные глаза мигом ее раздели; то, что открылось его взору, видно, ничуть его не заинтересовало, и Сильвия вздохнула с облегчением, когда он вновь задергался, терзаемый своими заботами. Однако постепенно она ощутила, с каким острым интересом присутствующие отнеслись к ее появлению. В тусклом, неверном свете уставленной комнатными растениями гостиной взгляды их были жестче стульев, на которых они сидели; одна из женщин глядела особенно неумолимо. Ее лицо, обычно, должно быть, самое заурядное, милое и мягкое, сейчас, когда она наблюдала за Сильвией, обезобразили недоверие и ревность. Словно желая смирить зверя, который вот-вот кинется, обнажив клыки, она поглаживала траченный молью меховой воротник и сверлила Сильвию взглядом, пока в прихожей не раздалась шага мисс Моцарт, подобные землетрясению. И все, кто ждал, мигом насторожились, будто перепуганные школьники, — каждый, забыв об остальных, был весь внимание.

— Теперь вы, мистер Покер, — вынесла приговор мисс Моцарт. — Проходите!

И мистер Покер, судорожно сжимая руки и нервно мигая, последовал за ней. А в сумеречной комнате все вновь осели, точно взбудораженные солнечным лучом пылинки.

Пошел дождь, расплывающиеся отражения окон трепетали на стене, молодой дворецкий мистера Реверкомба, проскользнув в комнату, помешал угли в камине, накрыл стол для чаепития. Было тепло, мерно шумел дождь, и Сильвию, ближе всех сидевшую к огню, клонило ко сну; глаза ее слипались, она клевала носом, не то спала, не то бодрствовала. Долгое время полированную тишину дома царапало лишь хрустальное тиканье часов. Но вдруг в прихожей поднялась невероятная суматоха и гостиную захлестнуло шквалом звуков — грубым, точно красный цвет, голосом кто-то ревел:

— Не пускать Орилли? Кто это тебе приказал, красавчик в ливрее? — Владелец этого голоса, приземистый багровый толстяк, отпихнув дворецкого, возник на пороге гостиной, он пьяно раскачивался и едва держался на ногах. — Так, так, так, — пропитым голосом басил он, постепенно утихая, — значит, все эти дамы передо мной? Что ж, Орилли — джентльмен, Орилли дождется своей очереди.

— Ну нет, не дождется, — заявила мисс Моцарт. Она прокралась у него за спиной и крепко ухватила его за ворот. Лицо его еще больше побагровело, глаза чуть не вылезли из

орбит.

— Вы меня задушите, — прохрипел он, но мисс Моцарт еще сильнее дернула его за галстук зеленовато-бледными руками, могучими, как корни дуба, и вытолкала за порог; дверь тут же захлопнулась за ним, звякнула чайная чашка, на пол посыпались сухие лепестки георгинов. Женщина с меховым воротником сунула в рот таблетку аспирина. «Какая мерзость», — сказала она, и все, кроме Сильвии, деликатно и восхищенно посмеялись вслед мисс Моцарт, которая прошествовала по комнате, отрясая прах со своих рук.

Когда Сильвия вышла из дома мистера Реверкомба, было мрачно и дождь лил как из ведра. Она поглядела по сторонам в поисках такси, но улица была пуста, нигде ни души; нет, кто-то есть... тот пьяный, что поднял переполох у Реверкомба. Точно бездомный мальчишка, он прислонился к машине на стоянке и подкидывал резиновый мячик.

— Погляди, малышка, — заговорил он с Сильвией, — погляди-ка, я нашел мячик. Как по-твоему, это к счастью?

Сильвия улыбнулась ему; несмотря на всю его браваду, он казался безобидным, и было что-то в его лице, какая-то усмешливая печаль, будто у клоуна, снявшего грим. Жонглируя мячом, он вприпрыжку поспешал за ней по направлению к Мэдисон-авеню.

— Ей-богу, я свалил там дурака, — сказал он. — Вот натворю что-нибудь эдакое, а потом тошно, хоть плачь. — Простояв так долго под дождем, он, видно, основательно протрезвел. — А все-таки она не смела меня душить, слишком она грубая, черт бы ее побрал. Знавал я грубых женщин, взять хоть мою сестру Беренис — бешеного быка могла укротить, но такой, как эта, я еще не встречал. Вот тебе мое слово, слово Марка Орилли: она кончит на электрическом стуле, — сказал он и причмокнул. — Не смеют они так со мной обращаться. Он сам во всем виноват. У меня и поначалу-то мало что было за душой, а он все отобрал, все до капельки, и теперь ничего у меня нет, малышка, niente5.

— Плохо дело, — сказала Сильвия, хотя и не знала, чему сочувствует. — Вы клоун, мистер Орилли?

— Бывший, — ответил он.

Они уже дошли до Мэдисон-авеню, но Сильвия забыла и думать о такси. Ей хотелось идти и идти под дождем рядом с этим человеком, который был когда-то клоуном.

— Девчонкой я из всех кукол любила только клоунов, — сказала она ему. — Моя комната была точно цирк.

— Я был не только клоуном. И страховым агентом тоже, кем только не был.

— Да что вы? — протянула Сильвия разочарованно. — А сейчас чем вы занимаетесь?

Орилли усмехнулся и особенно высоко подбросил мячик, потом поймал, но все шел задрав голову.

— Я обзираю небеса, — ответил он. — Закину за спину свой мешок и витаю в облаках. Когда человеку некуда больше пойти, он устремляется в небеса. Ну а чем я занимаюсь на земле? Я воровал, просил милостыню, продавал свои сны — и все ради выпивки. Без виски в облаках не повитаешь. А потому как тебе понравится, детеныш, если я попрошу у тебя взаймы доллар?

— Очень понравится, — ответила Сильвия и замолчала, не зная, как продолжать. Они шли так медленно, плотная стена дождя отгораживала их от всего мира, и Сильвии казалось, она гуляет с куклой-клоуном из своего детства, с куклой, которая выросла и может творить чудеса. Она нащупала руку Орилли и сжала ее в своей... милый клоун, витающий в облаках. — Но у меня нет доллара. У меня всего только семьдесят центов.

— Я не в обиде, — сказал Орилли. — Но по чести, это он теперь так мало платит?

Сильвия сразу поняла, о ком речь.

— Нет, нет... по правде сказать, он не купил мой сон.

Она и не пыталась объяснить, она сама не понимала, что произошло. Оказавшись один на один с леденящей душу непроницаемостью (мистер Реверкомб был безукоризнен, точен как весы, окружен запахом больницы; безжизненные серые глаза посажены в безликое лицо и опечатаны тускло-стальными стеклами), она тут же начисто забыла все свои сны и стала

рассказывать о двух жуликах, которые гнались за ней в парке, по площадке для игр, среди качелей.

— Он велел мне замолчать. Разные бывают сны, сказал он, но это вообще не сон, вы все выдумали. Ну скажите, как он догадался? Тогда я рассказала ему сон про него, как он задержал меня на всю ночь, а вокруг поднимались воздушные шары и с неба сыпались луны. Он сказал, сны про него самого ему не интересны. И велел мисс Моцарт, которая стенографировала сны, вызвать следующего. Наверно, я туда больше не пойду, — закончила Сильвия.

— Пойдешь, — возразил Орилли. — Погляди на меня, даже я хожу, а ведь он уже давно все из меня высосал, Злой Дух.

— Злой Дух? Почему вы его так называете?

Они дошли до угла, где вопил и покатывался со смеху одержимый Санта-Клаус. Гогот его отдавался эхом на залитой дождем улице; в радужных расплывах фонарей на мокрой, визжащей под шинами машин мостовой металась его неугомонная тень. Повернувшись к Санта-Клаусу спиной, Орилли сказал с улыбкой:

— Я его называю Злым Духом, потому что это он и есть. Злой Дух. Только, может, ты его зовешь как-нибудь иначе. Но все равно это он, и ты, конечно, с ним знакома. Все матери рассказывают про него своим малышам: он живет в дупле дерева, поздней ночью забирается в дом через трубу, прячется на кладбище, а иногда слышно, как он бродит по чердаку. Он сукин сын, он вор и разбойник, он отберет у тебя все до последнего и в конце концов оставит ни с чем, сны и те отнимет. У-у! — воскликнул Орилли и расхохотался еще громче Санта-Клауса. — Ну, теперь поняла, кто он такой?

Сильвия кивнула:

— Поняла. У нас дома его звали как-то иначе. Не помню как. Это было давно.

— Но ты его помнишь?

— Да.

— Тогда называй его Злым Духом, — сказал Орилли и, подкидывая мячик, пошел прочь. — Злой Дух, — летел вслед за ним и замирал вдалеке его голос. Злой Дух...

Смотреть на Эстеллу было трудно: она стояла у окна, а в окно било яростное солнце, от которого у Сильвии ломило глаза, и стекло дребезжало, так что ломило виски. К тому же Эстелла сердито ей выговаривала. Голос ее, и всегда гнусавый, сейчас звучал так, будто в горле у нее был склад ржавых бритв.

— Ты только посмотри на себя, — говорила Эстелла. Или, может, она это не сейчас говорила, а давным-давно? Ну, пусть ее. — Ума не приложу, что с тобой сделалось. Да ведь в тебе и ста фунтов нет, кожа да кости, а волосы на что похожи!.. Лохматая, как пудель.

Сильвия провела рукой по лбу:

— Который час, Эстелла?

— Четыре, — ответила та, замолчав ровно на секунду, только чтобы посмотреть на часы. — А где же твои часы?

— Продала, — сказала Сильвия. Она слишком устала, чтобы лгать. Не все ли равно? Она столько всего продала, даже свою бобровую шубку и вечернюю сумочку золотого плетения.

Эстелла покачала головой:

— Не знаю, что и сказать, милочка, просто не знаю. И ведь эти часы мама подарила тебе в честь окончания школы. Какой стыд, — и она жалостно поцокала языком, точно старая дева, — стыд и срам. Не понимаю, почему ты от нас переехала. Конечно, это твое дело, но как ты могла променять нашу квартиру на эту... эту...

— Дыру, — подсказала Сильвия, с умыслом подобрав слово погрубее. Она жила в меблированных комнатах на одной из Восточных Шестидесятых улиц, между Второй и Третьей авеню. В ее каморке только и хватало места для кушетки да потрескавшегося старого комода с мутным зеркалом, точь-в-точь глаз с бельмом; единственное окно

выходило на огромный пустырь (под вечер оттуда доносились крики оголтелых мальчишек), в отдалении, на фоне неба, точно восклицательный знак, вздымалась черная фабричная труба. Эту дымовую трубу Сильвия часто видела во сне; и всякий раз мисс Моцарт оживлялась, вскидывала глаза от своих записей и бормотала: «Фаллический образ, фаллический». Пол в комнате был словно мусорный ящик — тут валялись начатые, но так и недочитанные книги, старые-престарые газеты, даже кожура апельсинов, фруктовые косточки, белье, пудреница с рассыпанной пудрой.

Эстелла ногой отбросила с дороги весь этот хлам и прошла к тахте.

— Ты не понимаешь, милочка, — сказала она, садясь, — но я безумно волновалась. У меня, конечно, есть своя гордость и все такое, и, если я тебе не по вкусу, что ж, ладно. Но ты просто не имела права уехать вот так и целый месяц не подавать о себе вестей: Ну вот, и сегодня я сказала Пусе: Пуся, я чувствую, с нашей Сильвией случилось что-то ужасное. Звоню к тебе на службу, а мне говорят, что ты уже месяц как не работаешь. Представляешь, что со мной было?! В чем дело, тебя что, уволили?

— Да, уволили. — Сильвия приподнялась. — Пожалуйста, Эстелла... Мне надо привести себя в порядок. У меня свидание.

— Успокойся. Никуда ты не пойдешь, пока я не узнаю, что случилось. Хозяйка квартиры сказала мне внизу, что ты ходишь во сне, как лунатик...

— С какой стати ты с ней разговаривала? Чего ради ты за мной шпионишь?

Эстелла сморщила лоб, будто собираясь заплакать. И легонько похлопала Сильвию по руке.

— Признайся, милочка, тут замешан мужчина?

— Да, тут замешан мужчина, — ответила Сильвия, с трудом удерживаясь от смеха.

— Что ж ты сразу не пришла ко мне? — вздохнула Эстелла. — Я-то знаю мужчин. Тут стыдиться нечего. Бывает, встретится такой ловкач, что женщина совсем теряет голову. Не будь я уверена, что из Генри выйдет прекрасный, прямой и честный адвокат, — что ж, я бы все равно его любила и делала бы для него многое такое, что раньше, когда я еще не знала, что значит быть с мужчиной, показалось бы мне ужасным, прямо скандальным. Но, милочка, этот человек, с которым ты связалась... он из тебя все соки выжимает.

— Это совсем не те отношения, — сказала Сильвия, поднялась и начала искать чулки в ящиках, где царил неистовый кавардак. — Это не имеет ничего общего с любовью. Ну ладно, забудь все это. В общем, иди себе домой и начисто забудь обо мне.

Эстелла посмотрела на нее в упор:

— Ты пугаешь меня, Сильвия. Прямо пугаешь.

Сильвия рассмеялась и продолжала одеваться.

— Помнишь, я давно говорила — тебе пора замуж?

— Угу. Ну вот что. — Сильвия обернулась, изо рта у нее торчали шпильки, и, отвечая Эстелле, она вынимала их по одной. — Ты говоришь о замужестве так, словно это разрешает сразу все проблемы. Хорошо, в какой-то мере так и есть. Конечно же, я хочу, чтобы меня любили, а кто не хочет, черт возьми? Но даже если бы я готова была пойти на компромисс, где он, этот мужчина, за которого я бы пошла замуж? Провалился в тартарары, надо думать. Я не шучу, в Нью-Йорке нет мужчин... а если и есть, где с ними встретиться? А уж если и встретишь мало-мальски приятного человека, так он либо женат, либо слишком беден, чтобы жениться, либо чокнутый. И вообще здесь не место для любви, сюда надо приезжать, когда хочешь покончить с любовью. Ну конечно же я могла бы выйти за кого-нибудь. Но хочу ли я? Не хочу!

Эстелла пожала плечами:

— Тогда чего же ты хочешь?

— Большого, чем выпало на мою долю. — Сильвия сунула в волосы последнюю шпильку и, глядя в зеркало, пригладила пальцем брови. — У меня свидание, Эстелла, а тебе пора идти.

— Не могу я так тебя оставить, — сказала Эстелла, беспомощно обводя рукой

комнату. — Мы ведь подруги детства, Сильвия.

— В том-то и дело: мы больше не дети. Я, во всяком случае, уже не ребенок. Нет, Эстелла, иди домой и больше не приходи. Забудь, что я существую на свете.

Эстелла прижала к глазам платок, а у двери расплакалась в голос. Сильвия не могла себе позволить угрызений совести: раз уж поступила подло, продолжай в том же духе. И, идя по пятам за Эстеллой, она говорила:

— Уходи, уходи и можешь писать обо мне домой все, что тебе взбредет в голову.

Громко всхлипнув, так что из дверей с любопытством стали выглядывать соседи, Эстелла кинулась вниз по лестнице.

Сильвия вернулась к себе и пососала кусочек сахара, чтобы прогнать досаду: таким способом лечилась от дурного настроения ее бабушка. Потом стала на колени и выудила запрятанную под кушеткой шкатулку для сигар. Когда шкатулку открывали, она, не очень умело и чуть фальшивя, играла песенку «Ах, не люблю я вставать поутру». Этот музыкальный ящик смастерил братишка и подарил ей на день рождения, ей тогда исполнилось четырнадцать. Когда Сильвия сосала сахар, она думала о бабушке, а слушая песенку, всегда вспоминала брата. Перед глазами у нее закружились комнаты родного дома, темные-претемные, она бродила по ним, точно светлячок. Вверх по ступенькам, вниз, через весь дом, ласковые сиреневые тени населяли весенний воздух, поскрипывали качели на веранде. Все умерли, сказала она себе, перебирая в памяти их имена, и теперь я одна как перст. Музыка смолкла. Но Сильвия все слышала ее — она заглушала крики мальчишек на пустыре. Она мешала читать. Сильвия читала записную книжечку — подобие дневника, — которую хранила в этой же шкатулке. Сюда она коротко записывала сны, им теперь не было конца, и они так плохо запоминались. Сегодня она расскажет мистеру Реверкомбу о трех маленьких слепцах. Это ему понравится. Он оценивает сны по-разному, и такой сон стоит по меньшей мере десять долларов.

Лестница, потом улицы, улицы... а песенка из сигарной шкатулки все звучит у нее в ушах — хоть бы она наконец смолкла.

В витрине, где прежде стоял Санта-Клаус, теперь новая выставка, но от нее тоже делается не по себе. Витрина эта притягивает точно магнит, и даже если, как сегодня, опаздываешь к мистеру Реверкомбу, все равно нет сил пройти мимо. Гипсовая девица с яркими стеклянными глазами сидит на велосипеде и бешено крутит педали — спицы мелькают, колеса вертятся, будто заколдованные, но велосипед, понятно, не двигается с места. Бедняжка старается изо всех сил. Совсем как в жизни и до того напоминает ее собственную, что при взгляде на велосипедистку Сильвию всякий раз пронзает острая боль. Вновь зазвучала музыкальная шкатулка — та песенка, брат, родной дом, школьный бал, родной дом, песенка! Неужто мистер Реверкомб не слышит? Его сверлящий взгляд так хмуро-подозрителен. Но сон ему как будто понравился, и, когда она уходила, мисс Моцарт вручила ей конверт с десятью долларами.

— Мне приснился сон на десять долларов, — сказала она Орилли, и тот, потирая руки, отозвался:

— Отлично, отлично! Но какой же я невезучий, малышка... что бы тебе прийти пораньше... я сдуру отмочил штуку. Зашел в винный магазин, схватил бутылку и давай бог ноги.

Сильвия не поверила своим ушам, но он достал из застегнутого булавками пальто уже наполовину пустую бутылку виски.

— Рано или поздно ты угодишь за решетку, — сказала она, — а как же тогда я? Как я буду без тебя?

Орилли рассмеялся и плеснул в стакан немного виски. Они сидели в ночном кафетерии — в огромной, ярко освещенной обжорке с голубыми зеркалами и аляповатой росписью на стенах. Сильвия терпеть не могла это заведение — и все же они часто обедали здесь; ведь даже если бы ей было по карману место получше, куда еще они могли пойти вдвоем? Очень уж странная они пара: молоденькая девушка и пожилой пьянчужка, который еле держится на

ногах. Даже здесь и то на них нередко таращат глаза, и если кто-нибудь глядит чересчур назойливо, Орилли с достоинством выпрямляется и заявляет:

— Эй, губошлеп, давненько я тебя не видал. Все работаешь в мужской уборной?

Но обычно они предоставлены сами себе и порой засиживаются за разговором до ночи.

— Хорошо, что все прочие поставщики господина Злого Духа не знают про эти десять монет. Не то кто-нибудь уж обязательно завопил бы, что твой сон краденый. Со мной один раз так было. Отребье. Сроду не встречал такой стаи акул. Хуже актеров, хуже клоунов, хуже дельцов. Если подумать, так все это просто безумие: никогда не знаешь, заснешь ли, да приснится ли что, да запомнится ли. Вечно как в лихорадке. Получаешь несколько монет, кидаешься в ближайший винный магазин... или к ближайшему автомату за таблеткой снотворного. А едва опомнишься, бредешь в сортир. Послушай, малышка, а ты знаешь, на что это похоже? Это в точности как жизнь.

— Нет, Орилли, ничего общего. Это совсем не жизнь. Это куда больше похоже на смерть. Чувство такое, словно у меня все отняли, обокрали, раздели донага. Понимаешь, Орилли, у меня не осталось никаких желаний, а ведь их было так много! Я ничего не понимаю, не знаю, как мне жить дальше.

Орилли ухмыльнулся:

— По-твоему, это не похоже на жизнь? А кто что-нибудь понимает в жизни? Кто знает, как ему жить?

— Брось валять дурака, — сказала Сильвия. — Брось валять дурака, а еще убери виски и ешь суп, не то он будет холодный как лед.

Она закурила сигарету, от дыма защипало глаза, и она нахмурилась больше прежнего.

— Если бы только понять, на что ему наши сны, целая картотека снов. Что он с ними делает? Ты верно говорил, он и правда Злой Дух... Конечно же, он не просто безмозглый шарлатан, и какой-то смысл в этом есть. Но зачем они ему? Помоги мне, Орилли, ну подумай, пошевели мозгами: что все это значит?

Скосив глаза, Орилли плеснул себе еще виски. Распущенные в шутовской гримасе губы подобрались, лицо сразу стало серьезное, вдумчивое.

— Вот это всем вопросам вопрос, малышка. Что бы тебе спросить о чем попроще, ну, например, как лечить простуду. Ты спрашиваешь, что все это значит? Я много думал об этом, детеныш! Думал, когда любился с женщиной, думал и посреди игры в покер. — Он проглотил виски, и его передернуло. — Любой звук может породить сон. Прокатит ночью одинокая машина — и повернет сотни спящих вглубь самих себя. Смешно подумать, вот летит сквозь ночь один-единственный автомобиль и тащит за собой такой длинный хвост снов. Секс, внезапная перемена света, любая ерунда — это все тоже ключики, ими тоже можно отворить наше нутро. Но по большей части сны снятся потому, что внутри нас беснуются фурии и распахивают настежь все двери. Я не верю в Иисуса Христа, но верю, что у человека есть душа. И я так думаю, детеныш: сны — память души и потайная правда о нас. А Злой Дух — может, он вовсе без души, вот он и обирает по крохам наши души, обкрадывает — все равно как украл бы куклу или цыплячье крылышко с тарелки. Через его руки прошли сотни душ и сгнули в ящике с картотекой.

— Брось валять дурака, Орилли, — повторила Сильвия с досадой; ей казалось, он все шутит. — И погляди, твой суп... — Она осеклась, испуганная, такое странное стало у него лицо. Он смотрел в сторону входной двери. Там стояли трое — двое полицейских и еще один, в холщовой куртке продавца. Продавец показывал на их столик. Точно загнанный, Орилли обвел зал отчаянным взглядом, потом вздохнул, откинулся на стуле и с напускным спокойствием налил себе еще виски.

— Добрый вечер, господа, — сказал он, когда те трое остановились перед ним. — Не желаете ли с нами выпить?

— Его нельзя арестовать, — закричала Сильвия. — Клоуна нельзя арестовать!

Она швырнула в них бумажкой в десять долларов, но полицейский даже не поглядел на нее, и она принялась колотить кулаком по столу. Посетители пялили на них глаза, подбежал,

ломаю руки, хозяин кафетерия. Полицейский велел Орилли встать.

— Извольте, — сказал Орилли, — только совестно вам поднимать шум из-за такой малости, когда всюду кишмя кишат настоящие грабители. Вот возьмите хоть эту девчущку, — и он стал между полицейскими и показал на нее, — ее совсем недавно ограбили куда страшнее: бедняжка, у нее украли душу.

Два дня после ареста Орилли Сильвия не выходила из комнаты — в окно вливалось солнце, потом тьма. На третий день кончились сигареты, и она отважилась добежать до закуской на углу. Купила чайного печенья, банку сардин, газету и сигареты. Все это время она ничего не ела и оттого чувствовала себя невесомой и все ощущения были блаженно обострены. Но, поднявшись по лестнице и с облегчением затворив за собой дверь, она почувствовала, что безмерно устала, даже не хватило сил взобраться на кушетку. Она опустилась на пол и пролежала так до утра. А когда очнулась, ей показалось, прошло всего минут двадцать. Она включила на полную катушку радио, подтащила к окну стул и развернула на коленях газету — *Лана отказывается, Россия отвергает, Шахтеры идут на уступки*. Все это и есть самое грустное: жизнь продолжается. Если расстаться с возлюбленным, жизнь для тебя должна бы остановиться, и, если уходишь из этого мира, мир тоже должен бы остановиться, но он не останавливается. Оттого-то большинство людей и встает по утрам с постели: не потому, что от этого что-то изменится, но потому, что не изменится ничего. Правда, если бы мистеру Реверкомбу удалось наконец отнять все сны у всех людей, быть может... мысль ускользнула, переплелась с радио и газетой. *Похолодание*. Снежная буря захватывает Колорадо, западные штаты, она бушует во всех маленьких городках, облепляет снегом фонари, замечает следы, она повсюду и везде, эта буря; как быстро она добралась и до нас: крыши, пустырь, все, куда ни глянь, утопает в снегу, погружается глубже и глубже. Сильвия посмотрела на газету, потом в окно. Да, снег валил, наверно, весь день. Не может быть, чтоб он только начался. Совсем не слышно уличного шума — ни колес, ни гудков; на пустыре в снежном водовороте кружатся вокруг костра ребята; у обочины машина, замеченная по самые окошки, мигает фарами — на помощь! на помощь! — немая, как отчаяние. Сильвия разломала печенье и крошила на подоконник — пусть прилетят птицы, ей будет веселее. Она не закрыла окно: пусть летят; пахнуло холодным ветром, в комнату ворвались снежинки и растаяли на полу, точно фальшивые жемчуга. *Жизнь может быть прекрасна*. Прикрутим это проклятое радио! Ага, ведьма уже стучит в дверь. Хорошо, мисс Хэллоран, отозвалась Сильвия и совсем выключила радио. Снежно-покойно, сон но-молчаливо, только вдалеке ребячьими песенками звенит зажженный им на радость костер; а комната посинела от холода, что холоднее холодов из волшебных сказок, — усни, мое сердце, среди ледяных цветов. Отчего вы не переступаете порога, мистер Реверкомб? Входите же, на дворе так холодно.

Но пробуждение оказалось теплым и праздничным. Окно было затворено, она лежала в объятиях мужчины. И он напевал ей тихонько, но весело: «Сладкий, золотой, счастливый на столе пирог стоит, но всего милей и слаще тот, что нам любовь сулит».

— Орилли, ты?.. Неужели это правда ты?

— Малышка проснулась. Ну и как она себя чувствует?

— Я думала, я умерла, — сказала Сильвия, и в ее груди трепыхнуло крылом счастье, точно раненая, но еще летящая птица. Она хотела его обнять, но сил не хватило. — Я люблю тебя, Орилли. Ты мой единственный друг, а мне было так страшно. Я думала, никогда больше я тебя не увижу. — Она замолчала, вспоминая. — А как же это ты не в тюрьме?

Орилли заулыбался от удовольствия и слегка порозовел.

— А я и не был в тюрьме, — таинственно сообщил он. — Но сперва надо перекусить. Я кое-что купил нынче утром в закуской.

У нее вдруг все поплыло перед глазами.

— А ты здесь давно?

— Со вчерашнего дня, — ответил он, хлопотливо разворачивая свертки и расставляя

бумажные тарелки. — Ты сама меня впустила.

— Не может быть. Ничего не помню.

— Знаю, — только и сказал он. — Вот, будь умницей, выпей молочка, я расскажу тебе презабавную историю. Умора! — он радостно хлопнул себя по бокам. Никогда еще он так не походил на клоуна. — Ну вот, я вовсе и не был в тюрьме, мне повезло. Волокут меня эти бездельники по улице и вдруг — кого я вижу? — навстречу эдак враскачку шагает та самая горилла, ну, ты уж догадалась — мисс Моцарт. «Эй, — говорю я, — в парикмахерскую идете, бриться?» — «Пора, пора тебе за решетку, — говорит она и улыбается одному из фараонов. — Исполняйте свой долг, сержант». — «Ах вот как, — говорю. — А я вовсе не арестованный. Я... я иду в полицию рассказать всю вашу подноготную». И заорал: держи коммунистку! Что там было! Она вцепилась в меня, а фараоны — в нее. Я их, конечно, предупредил. «Осторожней, ребята, — говорю, — у нее вся грудь шерстью поросла». А она и впрямь лупила их почем зря. Ну, я и пошел себе дальше, вроде мое дело сторона. Не люблю я пялиться на каждую драку, как иные прочие.

Орилли пробыл у нее субботу и воскресенье. Никогда еще у Сильвии не было такого прекрасного праздника, никогда она столько не смеялась и никогда... ни с кем на свете, тем более ни с кем из родных, не чувствовала себя такой любимой. Орилли был отличный повар и на маленькой электрической плитке стряпал восхитительные кушанья; а однажды он зачерпнул снегу с подоконника и приготовил душистый шербет с земляничным сиропом. К воскресенью Сильвия уже настолько пришла в себя, что могла танцевать. Они включили радио, и она танцевала до тех пор, пока, смеясь и задыхаясь, не упала на колени.

— Теперь я уже никогда ничего не испугаюсь, — сказала она. — Даже и не знаю, чего я, собственно, боялась.

— Того самого, чего испугаешься и в следующий раз, — спокойно ответил Орилли. — Это все Злой Дух: никто не знает, чего от него ждать, даже дети, а ведь они знают чуть не все на свете.

Сильвия подошла к окну. Город был нетронуто-белый, но снег перестал и вечернее небо было прозрачно, как лед. Над рекой всходила первая вечерняя звезда.

— Вот первая звезда! — сказала она и скрестила пальцы.

— А что ты загадываешь, когда видишь первую звезду?

— Чтобы скорей выглянула вторая, — ответила Сильвия. — По крайней мере я так всегда загадывала.

— А сегодня?

Она сел на пол, прислонилась головой к его колену.

— Сегодня мне хочется вернуть мои сны.

— Думаешь, тебе одной этого хочется? — сказал Орилли и погладил ее по голове. — А что ты тогда станешь делать? Что бы ты делала, если бы тебе их вернули?

Сильвия помолчала, а когда заговорила, взгляд у нее был печальный и отчужденный.

— Уехала бы домой, — медленно проговорила она. — Это ужасное решение, пришлось бы отказаться почти от всего, о чем я мечтала. И все-таки, если бы Реверкомб вернул мне мои сны, я бы завтра же уехала домой.

Орилли ничего не сказал, подошел к стенному шкафу и достал пальто Сильвии.

— Зачем? — спросила она, когда он подал ей пальто.

— Надевай, надевай, — сказал он, — слушайся меня. Мы нанесем визит мистеру Реверкомбу, и ты попросишь его вернуть твои сны. Чем черт не шутит!

Уже у двери Сильвия заупрямилась.

— Пожалуйста, Орилли, не заставляй меня. Ну, пожалуйста, я не могу, я боюсь.

— Ты, кажется, говорила, что больше уже ничего не побоишься.

Но когда они вышли на улицу, он так быстро провел ее против ветра, что не оставалось времени пугаться. День был воскресный, магазины закрыты, и казалось, светофоры мигают только для них: ведь по утонувшим в снегу улицам не проезжала ни одна машина. Сильвия даже забыла, куда они идут, и болтала о разных разностях: вот на этом углу она однажды

видела Грету Гарбо, а вон там переехало старуху. И вдруг она остановилась, ошеломленная: она разом все вспомнила, и у нее перехватило дыхание.

— Я не могу, Орилли, — сказала она, попятившись. — Что я ему скажу?

— Пусть это будет обыкновенная сделка, — ответил Орилли. — Скажи ему без обиняков, что тебе нужны твои сны и, если он их отдаст, ты вернешь ему все деньги. В рассрочку, разумеется. Это проще некуда, малышка. Отчего бы ему, черт подери, не вернуть? Они у него все хранятся в картотеке.

Его слова звучали довольно убедительно, и Сильвия храбро двинулась дальше, притоптывая окоченевшими ногами.

— Вот и умница.

На Третьей авеню они разделились: Орилли полагал, что ему сейчас небезопасно находиться поблизости от мистера Реверкомба. Он укрылся в подъезде и время от времени чиркал спичкой и громко распевал: «Но всего милей и слаще тот, кто виски нам сулит!» Длинный тощий пес неслышно, словно волк, прокрался по залитой лунным светом мостовой, исчерченной тенями эстакады, а на другой стороне улицы маячили смутные силуэты мужчин, толпившихся у бара. При мысли, что у них можно бы выклянчить стаканчик, Орилли почувствовал слабость в ногах.

И он совсем уже было решился попытать счастья, но тут вернулась Сильвия. Он и опомниться не успел, как она уже кинулась к нему на шею.

— Ну, ну, все не так худо, голубка, — сказал он, бережно ее обнимая. — Не плачь, детеныш. Нельзя плакать на морозе, у тебя потрескается кожа.

Она пыталась одолеть душившие ее слезы, заговорить, и плач вдруг перешел в звенящий, неестественный смех. От ее смеха в воздухе закружился пар.

— Знаешь, что он сказал? — выдохнула она. — Знаешь, что он сказал, когда я попросила вернуть мои сны? — Она откинула голову, и смех ее взвился и полетел через улицу, точно пущенный на произвол судьбы нелепо раскрашенный воздушный змей. В конце концов Орилли пришлось взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть. — Он сказал, что не может их вернуть, потому что... потому что уже все их использовал.

И она замолчала, лицо ее разгладилось, стало безжизненно спокойным. Она взяла Орилли под руку, и они двинулись по улице; но казалось — это двое друзей меряют шагами перрон и каждому не терпится посадить другого в поезд; когда они дошли до угла, Орилли откашлялся и сказал:

— Пожалуй, я здесь сверну. Не все ли равно, тут или на другом углу.

Сильвия вцепилась в его рукав:

— Куда же ты, Орилли?

— Буду витать в облаках, — сказал он, пытаясь улыбнуться, но улыбка не давалась.

Сильвия открыла сумочку.

— Без бутылки в облаках не повитаешь, — сказала она, поцеловала его в щеку и сунула ему в карман пять долларов.

— Благослови тебя Бог, детеныш.

Ну и пусть, это последние ее деньги, и теперь придется идти домой пешком, совсем одной. Снежные сугробы были точно белые волны белого моря, и она плыла, уносимая ветром и приливом. Я не знаю, чего хочу, и, быть может, так никогда и не узнаю, но единственное мое желание, чтобы за каждой звездой всегда зажигалась другая звезда; а ведь я теперь и вправду не боюсь, думала она. Двое парней вышли из бара и уставились на нее: давным-давно, где-то в парке, она вот так же встретила двоих, быть может этих самых. А ведь я и вправду не боюсь, подумала она, слыша у себя за спиной приглушенные снегом шаги; да и все равно, больше у нее уже нечего украть.

Бриллиантовая гитара

перевод Е. Суриц

До ближайшего города от тюремного хозяйства двадцать миль. Сосна и сосна, большие леса стоят между этим хозяйством и городом, в этих лесах и работают заключенные: подсачивают сосну для живицы. Тюрьма и сама в лесу. Она виднеется в конце рыжей, в рытвинах дороги, за забором, увитым колючей проволокой, как виноградной лозой. Там, за этим забором, живут сто девять белых, девяносто семь негров и один китаец. В двух бараках — больших домах из неструганых бревен под толевой крышей. Белые в одном бараке, негры с китайцем в другом. В каждом бараке есть просторная пузатая печь, но зимы тут холодные, и по ночам, когда сосны веют морозом и хлещет льдистым светом луна, растянувшиеся на железных койках мужчины не могут заснуть, и цветное пламя печи играет у них в зрачках.

Те, чьи койки стоят ближе всех к очагу, — люди важные: их уважают или их боятся. Мистер Шеффер — один из них. Мистер Шеффер — так его и называют в знак особого почтения — человек высокий, поджарый. У него рыжеватые волосы с проседью и лицо изнуренное, как у монаха; на нем совсем нет плоти; все кости видны; и глаза у него скучного, тусклого цвета. Он умеет читать и умеет писать, умеет складывать цифры столбиком. Когда кто-нибудь получает письмо, то несет его к мистеру Шефферу. Письма все больше жалостные, печальные; очень часто мистер Шеффер с ходу сочиняет более приятные вести, а что на странице написано, он не читает. В этом бараке еще двое умеют читать. И все равно один из них носит свои письма мистеру Шефферу, и тот из любезности никогда не читает правду. Сам мистер Шеффер писем не получает никогда, даже на Рождество: видно, у него нет друзей за стенами тюрьмы, а здесь и подавно — то есть близких друзей. Не всегда это так было.

Однажды в зимнее воскресенье, несколько зим тому назад, мистер Шеффер сидел на барачном крыльце и вырезал куклу. У него на это талант. Куклы у него вырезаны по частям и потом скреплены пружинкой; руки-ноги двигаются, голова крутится. Как сделает таких кукол штук десять, тюремный капитан их отвозит в город, и там их продают в магазине. Таким способом мистер Шеффер зарабатывает деньги на конфеты и на табак.

В то воскресенье, когда он сидел и вырезал пальчики на крохотной ручке, на тюремный двор прогрохал грузовик. Молодой парнишка, прикованный наручниками к капитану, выбрался из кузова и стоял, шурясь на зимний призрак солнца. Мистер Шеффер бегло на него глянул. Ему тогда было пятьдесят, и семнадцать из этих лет он провел здесь, в тюрьме. Он не стал подниматься с места из-за нового арестанта. Воскресенье в тюрьме выходной, по двору шлялся народ, грузовик обступили. Потом Кайло и Арахис пошли докладывать мистеру Шефферу.

Кайло сказал:

— Иностранец он, новенький-то. С Кубы. А волосы — желтые.

— Поножовщина, капитан говорит, — сказал Арахис, который сам сидел за поножовщину. — Матроса порезал в Мобиле.

— Двух матросов, — сказал Кайло. — Драка в кабаке, всего делов. И ничего он им не сделал.

— Ухо мужику отрезать? Это, по-твоему, ничего? Два года, капитан говорит, ему припаяли.

Кайло сказал:

— Гитара у него — вся-вся в бриллиантах.

Становилось темно для работы. Мистер Шеффер сладил части своей кукле и, держа за ручки, усадил ее к себе на колени. Скрутил цыгарку; сосны были синие от заката, дым цыгарки висел в холодных прохладных сумерках. Он видел, как по двору шел капитан. Немного поотстав, за ним шел светлый парнишка, новенький. Он нес гитару, утыканную бриллиантами из стекла, они лучисто мигали, и арестантская одежда была ему велика; как балахон маскарадный.

— Вот Шеффер, знакомься, — останавливаясь у барачного крыльца, сказал капитан. Этот капитан был человек не злой; иной раз он приглашал мистера Шеффера к себе в

кабинет, и они беседовали о том, что прочитали в газете. — Тико Фео, — сказал он так, будто это название песни или птицы, — вот мистер Шеффер. Во всем бери с него пример.

Мистер Шеффер поднял глаза на парнишку и улыбнулся. Он улыбался дольше, чем он хотел, потому что глаза у парнишки были похожи на лоскуты неба — синие, как зимний вечер, и, глядя в эти глаза, мистер Шеффер вспомнил далекое время и летний отпуск.

— Как сестренка моя, — сказал Тико Фео, потрогав куклу. Голос с кубинским акцентом был у него мягкий и сладкий, как банан. — Тоже она у меня на коленях сидит.

Мистер Шеффер вдруг заробел. Поклонился капитану и отошел к дальним теням двора. Там он стоял и шепотом перебирал имена звезд, расцветавших над ним. Он любил звезды, но сегодня они не приносили ему утешения; не напоминали ему, что то, что случается с нами здесь, на земле, тает в бесконечном сиянии вечности. Глядя на них — на звезды, — он думал про ту гитару с бриллиантами, про мирской ее блеск.

Надо сказать про мистера Шеффера, что за всю свою жизнь он сделал только одну действительно плохую вещь: он убил человека. Обстоятельства этого дела не важны, важно только, что тот человек заслужил свою смерть и что за нее мистера Шеффера осудили на девяносто девять лет. Очень долго — много лет — он и не думал про то, что было с ним до тюрьмы. Память его о том времени была как дом, где никто не живет и развалилась вся обстановка. Но в ту ночь было так, будто по всем сумрачным мертвым комнатам позажигали лампы. Началось это, когда он увидел, как Тико Фео идет через сумерки со своей великолепной гитарой. До той минуты он не был одинок. Теперь, осознав свое одиночество, он почувствовал, что он живой. А он не хотел быть живым. Быть живым — значит помнить темные реки, полные рыбы, и солнечный луч у леди в волосах.

Мистер Шеффер понурил голову. Под пристальным взглядом звезд на глаза ему навернулись слезы.

Обычно это незавидное место — барак, провонявший запахом многих мужчин, застывший под двумя голыми лампочками. Но с появлением Тико Фео в холодном бараке вдруг настало лето, и, когда мистер Шеффер вернулся туда, оторвавшись от наблюдений над звездами, он застал странную, яркую картину. По-турецки сидя на койке, Тико Фео щипал свою гитару длинными, летучими пальцами и пел песню, веселую, как звон монет. Песня была испанская, но многие пробовали подпевать, а Кайло с Арахисом вместе танцевали. Чарли и Миг танцевали тоже, но каждый сам по себе. Приятно было слышать, как люди хохочут, и, когда Тико Фео наконец отложил гитару, мистер Шеффер вместе со всеми его хвалил.

— Ты заслужил такую прекрасную гитару, — сказал он.

— Она бриллиантовая, — сказал Тико Фео, оглаживая ее эстрадный блеск. — Раньше моя рубиновая была. А эта ворованная. На Гаване моя сестра работает... как это по-вашему... где гитары делают; вот мне эта досталась.

Мистер Шеффер спросил, сколько у него сестер, и Тико Фео, осклабясь, показал четыре пальца. Потом синие глаза сузились жадно, и он сказал:

— Пожалуйста, мистер, ты даришь куклы для две моих малых сестры?

Назавтра вечером мистер Шеффер ему поднес этих кукол. И стал с тех пор его лучшим другом, и они всегда были вместе. И всегда заботились друг о друге.

Тико Фео было восемнадцать лет, и два года он ходил рабочим на сухогрузе по Карибскому морю. В детстве он ходил в школу к монахиням и носил на шее золотой крестик. И четки у него были. Четки он сберег, они были завернуты в зеленый шелковый шарф, содержавший и три других сокровища: флакончик одеколona «Огни Парижа», карманное зеркальце и карту мира компании «Рэнд Макнелли». Эти вещи и гитара были единственным его достоянием, и он никому не разрешал прикасаться к ним. Кажется, больше всего он ценил свою карту. Ночью, перед тем как выключат свет, он разворачивал ее и показывал мистеру Шефферу места, где он побывал — Майами, Галвестон, Новый Орлеан, Мобил, Куба, Гаити, Ямайка. Пуэрто-Рико, Виргинские острова, — и места, где хотел побывать. Он хотел побывать почти всюду, в Мадриде особенно, особенно на Северном полюсе. Оба этих

названия завораживали и пугали мистера Шеффера. Ему больно было представлять себе Тико Фео где-то на море, вдали. Иной раз он с опаской поглядывал на своего друга, но думал: «Ленивый ты фантазер».

Тико Фео был ленивый, что правда, то правда. После того первого вечера его и за гитару-то трудно было усадить. На рассвете, когда охранник входил для побудки и стучал для этого молотом по печи, Тико Фео хныкал как малый ребенок. Иной раз он прикидывался больным, стонал, за живот хватался; но номер не проходил, капитан гнал его на работу вместе со всеми. Его поставили рядом с мистером Шеффером в дорожной бригаде. Работа была тяжелая — вскапывать мерзлую глину, таскать здоровенные мешки со щебнем. Охране приходилось вечно орать на Тико Фео, он отлынивал, все норовил к чему-нибудь привалиться.

Каждый полдень, когда разносили котелки с обедом, друзья усаживались рядом. У мистера Шеффера всегда оказывалось в котелке что-нибудь вкусненькое, он мог себе позволить яблоки и конфеты из города. Мистер Шеффер с удовольствием угощал своего друга, друг радовался, и мистер Шеффер думал: «Ты растешь; долго тебе еще расти, пока взрослым станешь».

Не все любили Тико Фео. Может, от зависти, а может, по другой какой причине, но про него часто нехорошо говорили. Сам Тико Фео, кажется, ничего не замечал. Когда его обступали и он играл на гитаре и пел свои песни, он чувствовал, по лицу было видно, что все его любят. Многие и вправду любили его; ждали — дожидаться не могли того часа, когда уже кончился ужин, но еще не погашен свет. «Тико, сыграй на струменте», — говорили ему. И не замечали, что после его игры становилось еще печальней, чем прежде. Сон был рядом, подбирался на мягких лапках, а глаза медлили задумчиво на пламени, трещавшем за решеткой печи. Мистер Шеффер один понимал их тоску, потому что он и сам ее чувствовал. Друг будто воскрешал те далекие темные реки, полные рыбы, тех леди с солнечным лучом в волосах.

Скоро Тико Фео удостоился чести спать на койке у самой печи рядом с мистером Шеффером. Мистер Шеффер знал всегда, что его друг отъявленный врун. Он не искал правды в его рассказах о приключениях, победах, встречах со знаменитыми людьми. Они доставляли ему удовольствие, как вот рассказы, какие в журнале читаешь, и его грел тропический голос друга, нашептывавший во тьме.

Они не сплетали тела, даже об этом не помышляли, хоть такое в тюрьме водилось, но во всем остальном были как любовники. Из всех времен года весна — самое ошеломительное: подмороженную зимнюю землю пробивают побеги, на старых обреченных ветвях раскрывается с треском листва, отоспавшийся ветер гуляет по новорожденной зелени. Вот и с мистером Шеффером творилось такое, он изменился, ожил, он расправлял вялые мышцы.

Был конец января. Друзья сидели на барачном крыльце, каждый с цыгаркой в руке. Месяц тоненькой лимонной кожурой завивался в вышине, и полосы мерзлой земли блестели под ним и серебристо дрожали, как змейки. Тико Фео уж много дней как ушел в себя — молчал как разбойник в засаде. И нечего было просить: «Тико, сыграй на струменте», он только глянет на тебя неживым, затуманенным взглядом.

— Расскажи что-нибудь, — сказал мистер Шеффер. Он нервничал и дергался от беспомощности, видя, что друг отдаляется от него. — Расскажи, как ходил на скачки в Майами.

— Никогда я не ходил ни на какие скачки, — сказал Тико Фео, тем самым признавшись в самой бессовестной лжи, разом отрекшись от неразрывных с ней сотен долларов и встречи с Бингом Кросби. Но он и глазом не моргнул. Достал расческу и мрачно провел по волосам. Из-за этой расчески несколько дней назад была жуткая стычка. Один человек в бараке, Миг, объявил, что Тико Фео ее у него украл, в ответ обвиняемый плюнул ему в лицо. Началась драка, мистер Шеффер еще с кем-то еле их разняли.

— Это моя расческа. Ему скажи! — потребовал Тико Фео у мистера Шеффера. Но

мистер Шеффер спокойно и твердо сказал: нет, расческа не твоя — ответ, от которого, кажется, всем стало не по себе.

— Э, — сказал Миг, — да если он к ней так прикипел, пусть себе оставит, говнюк.

А потом срывающимся, изумленным голосом Тико Фео сказал:

— А я думал, ты мой друг.

«Да, я твой друг», — подумал мистер Шеффер, но вслух ничего не сказал.

— Я на скачки не ходил, и что я про вдовую женщину сказал, то тоже неправильно.

Он жарко пыхнул цыгаркой и, как бы что-то прикидывая, глянул на мистера Шеффера.

— А деньги у тебя есть, мистер?

— Может, долларов двадцать, — ответил мистер Шеффер неуверенно, не понимая, к чему клонит Тико.

— Не очень хорошо, двадцать доллар, — сказал Тико Фео, однако без разочарования в голосе. — Ничего, мы все сделаем. В Мобиле есть мой друг Фредерико. Он нас сажает в лодку. Все будет хорошо. — И было так, будто он сказал всего-навсего, что чуть похолодало.

У мистера Шеффера заметалось сердце; он не мог говорить.

— Тут никто не может догонять Тико. Он всех быстрее.

— Пули еще быстрее, — сказал мистер Шеффер неживым голосом. — Старый я стал, — сказал он, и ощущение старости поднялось в нем как тошнота.

Тико Фео не слушал.

— А там — мир. Мир, *el mundo*, друг.

Он встал, он дрожал, как молодой конь; все будто тянулось к нему — месяц, крики охрипших сов. Дыхание у него зачастило, сделалось дымным облаком.

— Едем в Мадрид? Может быть, я научаюсь бой быков. Как думаешь, мистер?

Мистер Шеффер не слушал тоже.

— Старый я стал, — сказал он, — Никуда не поеду.

Несколько недель Тико Фео к нему приставал — мир, *el mundo*, друг; и ему хотелось спрятаться. Запереться в сортире, отдышаться. Тем не менее он был как натянутая струна, его донимал соблазн. А вдруг это сбудется — бег с Тико Фео, через лес, к морю? И он воображал, как он сидит в лодке, на море, которого в жизни не видел, он, всю жизнь проторчавший на суше.

В то время умер один заключенный, слышно было, как сколачивали во дворе ему гроб. И при каждом вбитом гвозде мистер Шеффер думал: «Это для меня. Это мне».

А сам Тико Фео никогда еще не был так весел; ходил щегольской походочкой, как танцевал, для каждого держал наготове шутку. После ужина, в бараке, пальцы его взлетали над струнами, как фейерверк. Он всех научил кричать *olé*, и некоторые даже подбрасывали к потолку шапки.

Когда дорожные работы закончились, мистера Шеффера и Тико Фео перевели работать обратно в лес. На Валентинов день они обедали под сосной. Мистер Шеффер заказал в городе дюжину апельсинов и чистил их медленно, спиральками спускал кожуру; сочные дольки он отдавал другу, и тот гордился тем, как далеко сплевывает косточки — аж на десять метров.

День был холодный, ясный, блики солнца порхали вокруг как бабочки, и мистеру Шефферу, который любил работать с деревом, было хорошо, томно. Потом Тико Фео сказал:

— Этот, он мухи в рот не поймает.

Он имел в виду свинойрлого Армстронга, который сидел, зажав коленями дробовик. Он был моложе всех в охране и новенький в здешнем хозяйстве.

— Не знаю, — сказал мистер Шеффер. Он приглядывался к Армстронгу и заметил, что, как многие из дюжих, пустоголовых людей, двигался новый охранник легко и споро. — Он тебя запросто может обставить.

— Может, я сам его обставлю, — сказал Тико Фео и пальнул косточкой в сторону Армстронга. Охранник нахмурился, свистнул в свисток. Это был сигнал к началу работы.

В тот день друзья не раз снова сходились; они крепили ведерки под живицу к ближним

соснам. Неподалеку внизу скакал и ветвился между деревьев мелкий ручей.

— В воде пропадает след, — старательно выговорил Тико Фео, будто припоминал что-то. — Мы бежим в воде; до ночи влезает на дерево. Да, мистер?

Мистер Шеффер продолжал работать молотком, но рука дрогнула, и молоток пришелся по большому пальцу. Он ошеломленно глянул на друга. Боль не отразилась на его лице, он даже не пососал палец, как всякий бы сделал на его месте.

Глаза Тико Фео будто вскипели синью, и, когда он, голосом тише, чем шуршит верхушками сосен ветер, сказал «завтра», мистер Шеффер не видел ничего, кроме этих глаз.

— Завтра, мистер?

— Завтра, — сказал мистер Шеффер.

Первые краски утра легли на стены барака, и мистер Шеффер, который за всю ночь не сомкнул век, понял, что Тико Фео тоже не спит. Глазами грустного крокодила он следил за каждым движением друга на соседней койке. Тико Фео развязал шарф со своими сокровищами. Сперва вынул ручное зеркальце; отсвет медузой дрожал на его лице. Он долго себя разглядывал с серьезным восхищением и расчесывал и зализывал волосы, будто в гости собрался. Потом он повесил на шею четки. Одеколон он не стал открывать, карту тоже. Осталось только настроить гитару. Пока кругом одевались, он сидел на краю койки и настраивал гитару. Странно, ведь знал же, что больше ему на ней не играть.

Гомон птиц провожал их по утреннему зимнему лесу. Шли гуськом, бригадами по пятьдесят человек, при каждой конвойный. Мистер Шеффер потел как на жару, не попадал в ногу с другом, а тот шел впереди, щелкал пальцами, свистел, приманивал птиц.

Был условлен сигнал. Тико Фео крикнет: «Пора!» — и сделает вид, что заходит за дерево. Только мистер Шеффер не знал, когда это будет.

Охранник Армстронг, их конвойный, свистнул в свисток, они разбили строй и рассыпались в разные стороны. Мистер Шеффер, хоть и работал со всем вниманием, норовил стать так, чтобы видеть и Тико Фео, и охранника. Армстронг сидел на пне, жевал табак, отчего у него перекашивалось лицо, и штык уставил в солнце. У него были прыткие глазки шулера; и не скажешь, куда он смотрит.

Раз кто-то подал сигнал. Мистер Шеффер и знал, что это не голос друга, но все захолонуло и оборвалось у него внутри. Утро шло на убыль, и в ушах у него так шумело, что он боялся пропустить тот, настоящий сигнал.

Солнце влезло на самую середину неба.

«Он просто ленивый мечтатель. Никогда ничему не бывать», — подумал мистер Шеффер и на миг отважился в это поверить.

— Но сперва мы едим, — сказал Тико Фео деловито, когда они ставили свои котелки с едой на берегу ручья. Ели молча, будто чуть ли не в обиде друг на друга, но наконец мистер Шеффер почувствовал руку Тико на своей руке и нежно ее пожал.

— Мистер Армстронг, пора...

Мистер Шеффер видел над ручьем эвкалипт и думал, что скоро весна, подспеет камедь для жвачки. Острый как бритва камень вспорол ему ладонь, когда он сползал по скользкому склону в воду. Он распрямился, побежал; ноги у него были длинные, он почти не отставал от Тико Фео, и ледяные брызги взметались вокруг. Крики гудели по лесу, полые, как голоса в пещере, и было три выстрела, высокие, будто стреляли по журавлиному клину.

Мистер Шеффер не заметил бревна, которое лежало поперек ручья. Он думал, что он еще бежит, он сучил ногами, как опрокинутая на спину черепаха.

Он лежал и бился, и нависшее над ним лицо друга показалось ему частью белого зимнего неба — такое оно было дальше, порицающее. Всего миг один оно повисело над ним, как колибри, но мистер Шеффер успел увидеть, что Тико Фео не хотел, чтобы он это сделал, никогда не верил, что он сделает это, и он вспомнил, как подумал однажды, что много пройдет времени, пока друг его станет взрослым. Когда его нашли, он так и лежал в мелкой по щиколотку воде, будто был летний вечер и он решил прохладиться.

С той поры прошло три зимы, и про каждую говорили, что такой долгой, холодной еще

не бывало. Недавно за два месяца дождей глубже вымыло рытвины на глинистой дороге к тюрьме, и теперь туда еще трудней пройти и еще трудней выйти оттуда. На заборе вокруг тюрьмы установили два прожектора, и всю ночь напролет они горят, как глаза огромной совы. А в остальном мало что изменилось. Мистер Шеффер, например, все тот же, разве что волосы сильнее тронуло морозом да после перелома лодыжки он прихрамывает. Это сам капитан сказал, что мистер Шеффер сломал ногу при попытке поймать Тико Фео. Была даже фотография в газете: мистер Шеффер под заголовком «Пытался предотвратить побег». Он сильно тогда мучился, не потому, что стыдился людей, а потому что боялся, как бы не увидел Тико Фео. Но фотографию ту он все-таки вырезал и хранит в конверте вместе с другими вырезками, касающимися его друга: одинокая женщина сообщила, что он вошел к ней в дом и ее поцеловал, два раза доносили по начальству, что его видели недалеко от Мобила, потом решили, что он покинул страну.

Никто никогда не оспаривал права мистера Шеффера на гитару. Несколько месяцев назад появился в бараке новый арестант. Говорили, что он чудесный гитарист, и мистера Шеффера упростили дать ему поиграть на гитаре. Только вся его музыка выходила никуда не годная, будто Тико Фео, когда настраивал гитару в то последнее утро, ее заколдовал. И теперь она лежит под койкой у мистера Шеффера, где все желтой делаются бриллиантовые стекляшки; иной раз ночью он потянется к ней, скользнет пальцами по струнам; а там — мир.

Цветочный дом

перевод Г. Дашевского

Счастливее девушки, чем Оттилия, в Порт-о-Пренсе быть не могло. Малышка ей так и говорила: Подумай, сколько у тебя хорошего. Например? спрашивала Оттилия — кокетка, ради комплиментов она отказалась бы от свинины или духов. Например, твоя внешность, говорила Малышка: кожа светлая, даже глаза почти голубые, а личико просто прелесть — у кого еще в квартале такие верные клиенты: тебе каждый купит столько пива, сколько в тебя уместится. Оттилия соглашалась и подхватывала, улыбаясь, опись своего счастья: У меня есть пять шелковых платьев и зеленые атласные туфельки; у меня есть три золотых зуба, каждый по десять тысяч франков; мистер Джеймисон или еще кто-нибудь мне подарит, наверно, новый браслет. И все равно, Малышка, — она вздыхала и не могла высказать, что ее гложет.

Малышка была ее лучшей подругой; другую подругу звали Росита. Малышка была как колесо — круглая, быстрая; на жирных пальцах зеленели полосы от медных колец, зубы почернели как обугленный пень, а ее смех было слышно с самого рейда — по крайней мере, если верить морякам. Вторая подруга, Росита, была выше и сильнее, чем обычный мужчина; вечерами, при клиентах, она ходила семеня, сюсюкала кукольным голоском, а днем шагала размашисто и говорила армейским баритоном. Обе подруги Оттилии приехали из Доминиканской Республики и поэтому на местных, более темнокожих, жителей смотрели свысока. На то, что Оттилия тоже местная, они внимания не обращали. У тебя ясная голова, говорила ей Малышка, и, конечно, плохую голову Малышка бы не полюбила. Оттилии часто бывало страшно, как бы подруги не догадались, что она не умеет ни читать, ни писать.

Дом, где они и жили и работали, покосившийся, тонкостенный как колокольня, облепляли шаткие, оплетенные бугенвиллеей балкончики. Назывался он, хотя вывески и не было, «Елисейские поля». Тусклая, хватавшая ртом воздух, вечно больная хозяйка распоряжалась из верхних комнат, качаясь там взаперти в кресле-качалке, выпивая по десять — двадцать бутылок колы за день. Всего на нее работало восемь дам; всем, кроме Оттилии, было за тридцать. По вечерам, когда они собирались на веранде, тараторя и обмахиваясь бьющими воздухом, как ошалевшие ночницы, бумажными веерами, Оттилия казалась

прелестным мечтательным ребенком среди старших некрасивых сестер.

Ее мать умерла, отец, плантатор, вернулся во Францию, и она выросла в горах в простой крестьянской семье, где каждый из сыновей, еще не повзрослев, увлекал ее под сень зеленых ветвей. Три года назад, когда ей было четырнадцать, она впервые отправилась в Порт-о-Пренс на рынок. Пути было два дня и ночь; она несла десятифунтовый мешок зерна; облегчая ношу, она отсыпала зерна, потом еще чуть-чуть, и на рынок пришла с почти пустым мешком. Оттилия плакала, представляя, как разозлятся дома, когда она вернется без выручки; но слезы текли недолго — их помог осушить один человек, очень веселый. Он купил ей ломоть кокоса и повел в гости к своей кухне — хозяйке «Елисейских полей». Оттилия не смела поверить своему счастью: музыкальный автомат, атласные туфли, шутки мужчин были так же удивительны, так же прекрасны, как висевшая у нее в комнате электрическая лампочка, которую она могла включать и выключать до бесконечности. Скоро она стала самой известной девушкой квартала, хозяйка брала за нее двойную плату, и у Оттилии закружилась голова; она часами смотрелась в зеркало. О горах она вспоминала редко; но и через три года горы ее не покинули: по-прежнему ее словно обдувал горный ветер, и ни ее твердые длинные бедра, ни шершавые, как шкурка ящерицы, подошвы не стали мягче.

Когда подруги заговаривали о любви, о мужчинах, в которых влюблены, Оттилия хмурилась: А что вы чувствуете, когда влюблены? — спрашивала она. Ах, отвечала Росита с пустеющим взглядом, это такое чувство, точно сердце обсыпали перцем, точно в крови плавают рыбки. Оттилия качала головой: если Росита не врет, значит, Оттилия не любила еще ни разу — ни от кого из приходивших мужчин такого чувства у нее не было.

Из-за этого она так мучилась, что наконец пошла к онгонуб, жившему в холмах над городом. В отличие от подруг, Оттилия не увешивала свою комнату христианскими картинками; она верила не в Бога, а в множество богов — богов еды, света, богов смерти, гибели. Онгон дружил с этими богами; хранил на алтаре их потайные святыни, различал в грохоте тыквы их голоса, низводил в свое зелье их силу. От имени богов онгон дал такой ответ: ты должна поймать дикую пчелу, сказал он, и зажать ее в кулаке. Если пчела тебя не ужалит, знай — к тебе пришла любовь.

Идя домой, она думала о мистере Джеймисоне. Ему было за пятьдесят, он был американец, приехавший по каким-то инженерным делам. Звякавшие на запястьях золотые браслеты подарил он, и, идя вдоль белоснежной от жимолости изгороди, Оттилия подумала: вдруг она все-таки влюблена в мистера Джеймисона. На жимолости гирляндами висели черные пчелы. Храбро протянув руку, она схватила задремавшую пчелу. От укуса, будто от удара, у нее подкосились ноги; и она плакала, стоя на коленях, так долго, что уже было не разобрать — то ли в руку ее укусила пчела, то ли в глаза.

Был март, приближался карнавал. В «Елисейских полях» дамы шили себе костюмы; Оттилия сидела сложа руки — она решила обойтись без наряда. В буйные выходные, когда с восходом луны начинали греметь барабаны, она сидела у окна и рассеянно смотрела, как шли мимо, пританцовывая и барабаня, кучки певцов; она слушала присвист и смех, и ее совершенно туда не тянуло. Можно подумать, тебе целая тысяча лет, говорила Малышка, а Росита сказала: Оттилия, пошли с нами на петушиный бой.

Речь шла не про обычный бой. Участники собрались со всех концов острова и принесли самых свирепых птиц. Оттилия подумала, отчего ж не пойти, и ввинтила в уши пару жемчужин. Они пришли, когда парад петухов уже начался; под огромным навесом гудела и ревела широкая, как море, толпа, а другая толпа, не попавших, теснилась по краям. Дамам из «Елисейских полей» войти не составило труда: знакомый полицейский проложил им дорогу и расчистил место на скамье у самого ринга. Сидевшие там крестьяне оробели от изысканного соседства. Они украдкой поглядывали на лакированные ногти Малышки, хрустальные гребни в прическе Роситы, на блеск жемчужных серег Оттилии. Но бои шли азартные, и о дамах быстро позабыли; Малышке это было досадно, она стреляла глазами, надеясь поймать чей-нибудь взгляд. Вдруг она толкнула Оттилию. Оттилия, сказала она, у

тебя завелся поклонник: посмотри на того вон молодца — уставился на тебя, точно на холодный лимонад.

Сперва Оттилия решила, что это кто-то знакомый: он смотрел на нее так, словно она должна его узнать; но как же ей было его узнать, если ни разу в жизни она никого не видала такого красивого, с такими длинными ногами, маленькими ушами? По деревенской соломенной шляпе и выгоревшей синеве плотной рубашки она поняла, что он с гор. Кожа у него была с золотым отливом, светлее лимона, глаже листа гуавы, и голову он вскидывал так же надменно, как черно-алая птица у него на руках. Обычно Оттилия смело улыбалась мужчинам; но сейчас улыбка треснула, пристала к губам, как крошки печенья.

Наконец объявили перерыв. Арена опустела, и все кто мог столпились на ней, танцуя, топчась под карнавальные мелодии оркестра барабанов и струнных. Тогда-то он и подошел к Оттилии; увидев, что петух уселся у него на плече, точно попугай, она засмеялась. Проваливай, сказала Малышка — ее возмутило, что какой-то крестьянин смеет звать Оттилию на танец; а Росита грозно привстала, чтобы заслонить подругу от нахала. Он только улыбнулся и сказал: Мадам, позвольте поговорить с вашей дочерью. Оттилия почувствовала, как ее поднимают, как ее бедра сталкиваются в такт музыке с его бедрами, — и ничего не возразила, послушно пошла с ним в самую гущу танцующих. Росита спросила: Ты слышала? Он решил, что я ее мать! И Малышка, утешая ее, горько сказала: А чего ты, в конце-то концов, хотела? Они же оба — просто местные; когда она вернется, сделаем вид, что мы с ней незнакомы.

Но Оттилия к подругам так и не вернулась. Ройалу — так звали молодого человека, — Ройалу Бонапарте, не хотелось танцевать. Мы должны пойти в тихое место, сказал он, возьми меня за руку, я тебя отведу. Она подумала, что он странный, но не чувствовала неловкости — горы все еще были с ней, а он был с гор. Взявшись за руки, под колыхание разноцветного петуха у него на плече, они вышли из-под навеса и побрели сперва по белой дороге, потом по мягкой поляне, через которую, рассекая зеленую завесу акаций, перепархивали колибри.

— Обидно, — сказал он с несколько не огорченным видом. — У меня в деревне Джуно чемпион, но здесь птицы сильные и некрасивые — если б я пустил его биться, он бы точно погиб. Отнесу его домой и скажу, что он победил. Оттилия, хочешь табаку?

Она с наслаждением вдохнула. Табак напомнил ей детство — пусть это были дурные годы, тоска по ним коснулась ее своей волшебной палочкой. Ройал, сказала она, постой минуту, я хочу снять туфли.

Ройал шел босой, его золотистые ступни — изящные, невесомые — оставляли следы словно от какого-то грациозного зверя. Он сказал: Как так получилось, что я тебя встретил здесь, именно здесь, где все так скверно, где ром плохой, где что ни человек, то вор? Почему я встретил тебя здесь, Оттилия?

— Мне же надо жить, как и тебе, а здесь для меня есть место. Я работаю — в гостинице.

— У нас есть свое место, — сказал он. Весь этот склон, а там, наверху, — мой летний дом. Пойдем посидим там, Оттилия?

— Дурачок, — сказала Оттилия, подтрунивая, — дурачок, — и побежала между деревьев — он погнался за ней, расставив руки, будто держа сеть. Джуно захлопал крыльями, закокотал, слетел наземь.

Мох и колкие листья щекотали Оттилии подошвы, когда она неслась сквозь полутьму, сквозь полосы тени; вдруг, напорвшись на колючку, она упала под шатер папоротника. Ройал вытаскивал колючку, она морщилась; он поцеловал ранку на пятке, его губы коснулись ее рук, ее шеи — словно ее задевали летящие с дерева листья. Она вдыхала его запах, темный, чистый запах — так пахнут корни вещей, корни герани, тяжелых деревьев.

— Хватит, взмолилась она, — ей не казалось, что хватит, но после часа с ним ее сердце вот-вот отказало бы. И он замер, уложив жестковолосую голову ей на сердце, — кыш, сказала она толпившейся у его спящих век мошкаре; тихо, сказала она Джуно, который

маршировал, кукарекая, задирая голову к небу.

Лежа на земле, Оттилия заметила давнего своего врага, пчел. Молчаливой вереницей, будто муравьи, они входили и выходили из разбитого пня неподалеку. Она выпросталась из объятий Ройала и, разровняв землю, переложила туда его голову. Ее рука, протянутая навстречу пчелам, дрожала, но первая же пчела свалилась ей в ладонь и, когда Оттилия свела пальцы, укусить ее даже не попыталась. Она досчитала до десяти, просто для верности, и раскрыла ладонь — пчела косыми витками поднялась в воздух с радостным пением.

Малышке и Росите хозяйка дала совет: не приставайте к ней, пусть уходит, через месяц-другой сама вернется. Хозяйка говорила со спокойствием потерпевших поражение: удерживая Оттилию, она предлагала ей лучшую в доме комнату, новый золотой зуб, «кодак», вентилятор — но Оттилия не дрогнула и без долгих слов принялась укладывать свои вещи в картонную коробку. Малышка пыталась помочь, но столько плакала, что Оттилии пришлось ее отослать: добра не будет, если все эти слезы попадут на вещи невесты. А Росите она сказала: Росита, ты должна за меня радоваться, а не причитать и не ломать руки. Всего через два дня после петушиных боев Ройал взвалил коробку Оттилии на плечо и на закате повел ее в горы.

Когда стало известно, что ее в «Елисейских полях» больше нет, многие клиенты сменили заведение; другие, хотя и сохранив верность месту, жаловались на невеселую атмосферу: в иные вечера почти некому бывало поставить дамам пиво. Понемногу становилось ясно, что Оттилия не вернется; прошло шесть месяцев, и хозяйка сказала: Я думаю, она умерла.

Дом Ройала был похож на цветочный домик; крышу укрывала глициния, окна завешивал виноград, у дверей цвели лилии. Из окон было видно дальнее, слабое мерцание моря: дом стоял высоко на холме; солнце палило жарко, но в тени было холодно. Внутри дома было всегда темно и прохладно, стены шелестели розовыми и зелеными обоями. Комната была всего одна; обстановку ее составляли печь, вертящееся зеркало в рамке на мраморном столе и медная кровать, где уместилась бы целая семья толстяков.

Но на этой огромной кровати Оттилия не спала. Ей не разрешалось туда даже присесть — кровать была собственностью бабки Ройала, старухи Бонапарте. Дочерна спеченную, грузную, кривоногую, как карлик, и как сарыч лысую старуху Бонапарте в окрестностях уважали: она напускала порчу. Многие пугались, если на них падала ее тень; даже Ройал ее побаивался и, объявляя, что привел жену, запинаясь. Притянув к себе Оттилию, старуха ущипнула ее в нескольких местах злобными мелкими щипками и сообщила внуку, что невеста слишком тощая: она умрет первыми родами.

Каждую ночь юная чета выжидала, чтобы старуха Бонапарте уснула, и лишь тогда они обнимали друг друга. Иногда, лежа на облитом луной соломенном тюфяке, на котором они спали, Оттилия чувствовала, что старуха Бонапарте не спит и следит за ними. Однажды она увидела блестящий в темноте отекий, истыканный звездами глаз. Жаловаться Ройалу толку не было; в ответ он смеялся: старуха столько за жизнь повидала — что страшного, если ей хочется увидеть еще немножко?

Оттилия любила Ройала; она перестала жаловаться и старалась не злиться на старуху Бонапарте. Довольно долго ей было хорошо. По подругам или жизни в Порт-о-Пренсе она не скучала; но связанные с тем временем вещи хранила бережно: достав швейную корзинку — подарок Малышки на свадьбу, — она чинила шелковые платья, зеленые чулки, которых никогда не надевала, потому что надевать их было некуда: собирались в деревне только мужчины — в кафе, на петушиных боях. Женщины, если хотели повидаться, встречались у ручья за стиркой.

Но у Оттилии было слишком много дел, чтобы чувствовать одиночество. На рассвете она собирала листья эвкалипта, разводила огонь и начинала готовить; цыплята ждали корма, коза — чтобы ее подоили, старуха Бонапарте хныкала, чтобы привлечь внимание. Три-четыре раза за день она набирала ведро питьевой воды и несла его Ройалу, работавшему на

травяном поле милей ниже дома. Ее не обижало, что при ее приходе он огрызался: она знала, что он красуется перед работавшими в поле мужчинами, которые пялились на нее с яркими, как арбузный разлом, ухмылками. Но по ночам, когда он был с нею, она отворачивалась и дулась на то, что он обращается с ней как с собакой, пока в темном, только со вспышками светляков, дворе он наконец не обнимал ее и не шептал что-нибудь, от чего она улыбалась.

Они были уже месяцев пять как женаты, когда Ройал вернулся к прежним привычкам. Другие мужчины ходят же по вечерам в кафе, проводят за петушиными боями целые воскресенья — и он не понимал, чем Оттилия недовольна; но она говорила, что он не имеет права так себя вести и что если бы он ее любил, то не оставлял бы и днем и ночью с этой гадкой старухой. Я тебя люблю, отвечал он, но у мужчины должны быть свои радости. В иные ночи он себя радовал так долго, что луна успевала пройти пол своего пути; Оттилия не знала, когда он вернется, и ворочалась на тюфяке, воображая, что не сможет заснуть, если он ее не обнимет.

Но настоящей пыткой была старуха Бонапарте. Она словно решила свести Оттилию с ума. Когда Оттилия готовила, противная старуха вечно толклась у печи; если еда ей не нравилась, она набирала полный рот и выплевывала все на пол. Она разводила грязь везде, где только могла: мочилась в постель, требовала держать козла в комнате, к чему ни прикасалась, все оказывалось просыпано, пролито, разбито, — а Ройалу твердила, что никуда не годится жена, если не умеет устроить мужу уютный дом. Она путалась под ногами весь день, ее красные, неумолимые глаза редко бывали закрыты; но самое плохое, из-за чего Оттилия в конце концов пригрозила ее убить, была привычка старухи неожиданно подкрасться и ущипнуть с такой силой, что оставались следы от ногтей. Сделай это еще хоть раз, только попробуй, и я этим вот ножом вырежу тебе сердце! Старуха Бонапарте поняла, что Оттилия не шутит, и, хотя щипки прекратились, выдумывала новые каверзы: например, нарочно расхаживала во дворе именно там, где Оттилия разбила маленький садик, делая вид, что об этом не знает.

Однажды случились два небывалых происшествия. Мальчик из деревни принес Оттилии письмо; в «Елисейских полях» ей иногда приходили открытки от знавших с ней минуты радости моряков и других мужчин в разъездах, но письмо она получила впервые в жизни. Она не умела читать, и первое ее побуждение было разорвать письмо: незачем ему здесь валяться, будет только ее дразнить. Правда, когда-нибудь она, может, и выучится читать; и она решила спрятать его в швейную корзинку.

Открыв корзинку, она увидела зловещую картину: внутри, будто какой-то мерзкий моток, лежала отрезанная голова желтого кота. Выходит, гадкая старуха не уgomонилась! Она хочет напустить порчу, подумала Оттилия, несколько не испугавшись. Осторожно ухватив голову за ухо, она отнесла ее к печке и бросила в кипящую кастрюлю: в полдень старуха Бонапарте облизнула зубы и сказала, что наконец-то Оттилия ей приготовила вкусный суп.

На следующее утро, как раз перед обедом, Оттилия нашла в корзинке извивающуюся зеленую змейку и, мелко-мелко ее нарубив, бросила в тушившееся мясо. Каждый день заново испытывал ее находчивость: пауков она запекла, ящерицу пожарила, у сарыча сварила грудку. Старуха Бонапарте съедала всякий раз по несколько порций. Беспokoйно вспыхивая, ее глаза следили за Оттилией, ища признаков того, что порча уже действует. — Ты плохо выглядишь, Оттилия, — сказала она, подмешав патоки в укус своего голоса. Ты ешь как муравей: почему ты себе не нальешь этого прекрасного супа?

— Потому, невозмутимо ответила Оттилия, что мне не нравится ни сарыч в супе, ни пауки в хлебе, ни змеи в жарком; я ничего такого не ем.

Старуха Бонапарте поняла; с набухшими вдруг венами, с отнявшимся беспомощным языком она, затрясшись, приподнялась и рухнула поперек стола. Еще до заката она умерла.

Ройал созвал плакальщиков. Они пришли из деревни, с соседних холмов и, завывая, как собаки ночью, заполонили дом. Старухи бились головой об стену, мужчины со стонами

валились на пол: это было искусство скорби, и теми, кто лучше других разыгрывал горе, все восхищались. После похорон все разошлись, довольные тем, что хорошо поработали.

Теперь дом принадлежал Оттилии. Без старухиных подкрадываний и необходимости за ней подтирать у нее стало больше времени, но что с ним делать, она не знала. Она валялась на широкой кровати, охорашивалась перед зеркалом; рутина отдавалась в голове звоном, и, прогоняя этот заунывный звук, она напевала песни, выученные у музыкального автомата в «Елисейских полях». Дожидаясь в вечернюю темноту Ройала, она вспоминала, что в это время ее подруги в Порт-о-Пренсе сплетничали на веранде и ждали, не завернут ли к дому автомобильные фары; но, завидев взлетающего на тропинку Ройала, с болтающимся на боку похожим на новый месяц резаком, она эти мысли забывала и с легким сердцем бежала ему навстречу.

Как-то ночью, когда они почти уснули, Оттилии почудилось, что в комнате есть еще кто-то. И над спинкой кровати она увидела тот самый, какой видела прежде, светящийся пристальный глаз; и поняла то, о чем уже какое-то время догадывалась: старуха Бонапарте умерла, но не ушла. Однажды она, когда была одна в доме, слышала смех; в другой раз во дворе она увидела, как козел смотрит на кого-то невидимого и прядет ушами, как всегда делал, когда старуха почесывала ему голову.

— Не трясись кровать, сказал Ройал, и Оттилия, указывая на глаз, шепотом спросила, неужели он ничего не видит. Он ответил, что ей это снится; она протянула к глазу палец и вскрикнула, коснувшись пустоты. Ройал зажег лампу; он баюкал Оттилию и гладил по волосам, а она рассказывала о находках в корзинке и как она ими распорядилась. Она сделала что-то плохое? Ройал не знал, не ему судить, но похоже, ее надо наказать. Почему? Потому что старуха этого хочет, потому что без этого она никогда от Оттилии не отвяжется: с призраками всегда так.

И поэтому утром Ройал достал веревку и сказал, что привяжет Оттилию к дереву во дворе: там, без еды и питья, она останется до темноты, и все прохожие будут знать, что она наказана.

Но Оттилия заползла под кровать и отказывалась вылезти. — Я убегу, визжала она. Ройал, если ты привяжешь меня к этому трухлявому дереву, я убегу. — А я тебя догоню и поймаю, сказал Ройал, и тебе будет только хуже.

Он схватил ее за лодыжку и вытащил, верещащую, из-под кровати. По дороге во двор она цеплялась за все — за дверь, за виноградные плети, за бороду козла, но ничто не помешало Ройалу выволочь ее во двор и привязать к дереву. Он завязал веревку тройным узлом и ушел в поле, посасывая руку в том месте, где Оттилия его укусила. Она выкрикивала вслед всю брань, какую слышала за свою жизнь, пока он не скрылся за холмом. Козел, Джуно и цыплята сошлись посмотреть на ее унижение; осевшая на землю Оттилия показала им язык.

Оттилия задремала и потому решила, что видит сон, когда в сопровождении мальчика из деревни, вихляясь на высоких каблуках, поигрывая пестрыми зонтиками, на тропинке показались выкликавшие ее имя Малышка и Росита. Раз они снятся, их, наверно, не удивит, что она привязана к дереву.

— Господи, ты что, рехнулась? — воскликнула Малышка, не подходя ближе, будто боясь, что Оттилия действительно обезумела. — Скажи что-нибудь, Оттилия!

Моргая, хихикая, Оттилия сказала: — Я просто рада вас видеть. — Росита, развяжи меня, пожалуйста, а то я не могу вас обнять.

— Вот, значит, что эта скотина с тобой вытворяет, — сказала Росита, разрывая веревки. — Попался бы он мне, когда тебя бил и привязывал во дворе как собаку.

— Нет, что ты, — сказала Оттилия. — Ройал меня не бьет. Просто сегодня я наказана.

— Ты нас не слушала, — сказала Малышка. — И вот что из этого вышло. Он за все ответит, — добавила она, потрясая зонтиком.

Оттилия обняла и расцеловала подруг. Разве дом не прелесть? — спросила она, подводя

их к дому. — У меня такое чувство, будто взяли фургон цветов и сложили из них дом. Пойдемте с солнца. Внутри прохладно и пахнет так приятно.

Росита фыркнула, словно сама она слышала совсем иной запах, и своим глубоким голосом сказала, что и впрямь им лучше бы уйти с солнца, а то оно действует Оттилии на голову.

— Это чудо, что мы так вовремя пришли, сказала Малышка, роясь в огромном ридикюле. Скажи спасибо мистеру Джеймисону. Мадам сказала, ты умерла, а когда ты нам не ответила на письмо, мы решили, что так и есть. Но мистер Джеймисон — вот уж любезный человек — нанял машину твоим самым близким подругам, нам с Роситой, чтобы мы поехали и проведали, что там с нашей Оттилией. Оттилия, у меня с собой бутылка рому, носи стаканы и выпьем по одной.

Утонченные заграничные манеры и ослепительные наряды городских дам приворожили их проводника — распахнутые черные глаза мальчика то и дело выныривали за окном. Оттилия тоже разволновалась — уже давно она не видела накрашенных губ, не слышала запаха духов, и, пока Малышка разливала ром, она достала атласные туфли и жемчужные серьги.

— Милая моя, — сказала Росита, когда Оттилия нарядилась, — тебе любой мужчина куши хоть бочонок пива; это надо же, такая красавица! мучается вдаль ото всех, кто тебя любит.

— Я не так уж мучалась, — сказала Оттилия. — Только иногда. — Цыц, — сказала Малышка. — Незачем сейчас про это говорить. Все уже позади. Дай-ка мне свой стакан. Выпьем за все, что с нами было, и все, что еще будет! Мистер Джеймисон сегодня вечером всех угощает шампанским, мадам скинула ему полцены.

— Ну и ну, — сказала Оттилия, завидуя подругам. А что все-таки, ей хотелось знать, о ней говорят, помнят ли еще?

— Оттилия, ты и представить не можешь, — сказала Малышка. — Мужчины ни на кого и не посмотрят, пока не зайдут к нам и не спросят, где Оттилия, потому что слышали о тебе еще в Гаване и в Майами. А мистер Джеймисон нас вообще не замечает — придет, сядет на террасе и пьет один.

— Да, — томно сказала Оттилия. — Он всегда был со мной внимательный, мистер Джеймисон.

Солнце уже садилось, бутылка на три четверти опустела. Холмы окатило мгновенным ливнем, и теперь в оконном стекле они переливались как стрекозиное крыло, а по комнате, шелестя зеленой и розовой бумагой на стенах, гулял густой от аромата орошенных цветов ветер. Много было рассказано смешного, порой и грустного; было похоже на любой вечерний разговор в «Елисейских полях», и Оттилия радовалась, что снова в нем участвует.

— Поздно уже, — сказала Малышка. — А мы обещали вернуться к полуночи. Оттилия, помошь тебе уложиться?

Ей не приходило в голову, что подруги собираются ее увезти, но от рома, еще не утихшего у нее внутри, план показался осуществимым, и, улыбнувшись, она подумала: я же ему говорила, что убегу.

— Правда, — сказала она вслух, — вряд ли я хоть неделю провеселюсь: Ройал туда явится и меня заберет.

Подруги хором рассмеялись. Глупая ты, — сказала Малышка. — Посмотрим на твоего Ройала, когда за него возьмутся наши друзья.

— Я не хочу, чтобы кто-нибудь за него брался, — сказала Оттилия. — Он тогда станет совсем бешеный. — Малышка сказала: Но ты же не собираешься сюда возвращаться. — Оттилия хихикнула и оглядела комнату, будто видя что-то невидимое остальным. — Разумеется собираюсь, — сказала она. Вращая глазами, Малышка вынула веер и нервно им замахала у самого лица. В жизни не слышала такой чепухи, — процедила она. Ты когда-нибудь слышала такую чепуху, Росита?

— Просто Оттилия слишком много перенесла, — сказала Росита. — Милая, давай ты

полежишь, а мы тебя соберем.

Оттилия смотрела, как они укладывают ее вещи. Они сгребали ее заколки и шпильки, свертывали шелковые чулки. Она сняла красивое платье, будто собираясь одеться еще наряднее, — но вместо этого влезла в старое; и затем, бесшумно и словно помогая подругам, разложила все вещи обратно по местам. Малышка, заметив, что происходит, топнула ногой.

— Послушай, — сказала Оттилия. — Если ты и Росита мне подруги, сделайте, что я вам скажу: привяжите меня во дворе в точности как я была, когда вы пришли. Тогда ни одна пчела меня никогда не ужалит.

— Наклюкалась, — сказала Малышка; но Росита приказала ей заткнуться. — Похоже, — сказала Росита, вздохнув, — похоже, Оттилия влюблена. Если Ройал захочет ее забрать, она пойдет за ним, а раз так, отправимся-ка мы лучше обратно и скажем, что мадам была права — Оттилия умерла.

— Да, — сказала Оттилия; предложение понравилось ей своей романтичностью. — Скажите, что я умерла.

И они пошли во двор; бурно дыша и с круглыми, как скользивший по небу месяц, глазами, Малышка сказала, что и пальцем не шевельнет, чтобы привязать Оттилию, и Росите пришлось привязывать ее в одиночку. При прощании сильнее всех плакала Оттилия, хотя и была рада их уходу, потому что знала: стоит им уйти, и она забудет о них навсегда. Ковыляя на высоких каблуках вниз по тропинке, припадая на рытвинах, они обернулись и ей помахали, но связанная Оттилия помахать в ответ не могла и перестала о них думать еще до того, как они скрылись из глаз.

Она грызла листья эвкалипта, чтобы отбить запах рома; воздух покалывал вечерним холодком. Месяц налился желтизной, птицы слетались на ночлег в сумрак кроны. Вдруг, заслышав на тропинке Ройала, она раскинула колени, уронила голову набок, глубоко закатила глаза. Издали должно было показаться, что ее настигла какая-то жестокая, душераздирающая смерть; и, услышав, как шаги Ройала перешли на бег, она улыбнулась от счастья и подумала: то-то он перепугается.

Воспоминания об одном рождестве

перевод С. Митиной

Представьте себе раннее утро в конце ноября. По-зимнему холодное утро двадцать с лишним лет тому назад. А теперь вообразите себе кухню в одном из больших старых домов захолустного городка. Самое главное в кухне — черная плита внушительных размеров, но есть здесь еще и большой круглый стол, и камин, и кресла-качалки перед ним. Как раз сегодня камин впервые загудел снова.

У окна кухни стоит женщина с коротко остриженными седыми волосами. На ней теннисные туфли и вытянувшийся серый свитер поверх летнего ситцевого платья. Она маленькая и быстрая, словно бентамская курочка, но после долгой болезни, перенесенной еще в молодости, плечи ее жалостно сгорблены. Лицо у нее приметное. Она смахивает на Линкольна — те же резкие черты, обветренная и загорелая кожа; но вместе с тем есть у нее в лице что-то хрупкое, и овал его куда тоньше, а глаза боязливые, светло-карие.

— Ух ты! — восклицает она, и от дыхания ее затуманивается стекло. — Погода — в самый раз для рождественских пирогов!

Это она обращается ко мне. Мне семь лет, а ей самой уже за шестьдесят. Мы с нею в родстве, но очень дальнем, и живем вместе давным-давно — с тех пор, как я себя помню. В доме живут и другие люди, тоже наши родственники, и хотя они распоряжаются нами и частенько заставляют нас плакать, мы, в общем, не очень-то их замечаем. А с нею мы — задушевные друзья. Она зовет меня Дружок, в память другого мальчика, который когда-то был ее задушевым другом. Тот, первый Дружок, умер еще в восьмидесятых годах, когда

она была совсем ребенком. Да она и сейчас ребенок.

— Я это еще в постели почуяла, — говорит она, отворачиваясь от окна, и глаза ее решительно поблескивают. — Бой часов на башне суда был такой чистый, холодный. И птиц совсем не слышно: улетели в теплые края. Ну да, ясное дело. Дружок, будет тебе уплетать лепешки. Тащи-ка сюда коляску. Да помоги мне шляпу найти. Ведь нам надо испечь целых тридцать пирогов.

Вот так всегда: в конце ноября в одно прекрасное утро подружка моя словно бы официально провозглашает начало рождественских праздников.

И вот воображение ее заработало, горящее в ее сердце пламя вспыхивает еще ярче:

— Погода — в самый раз для рождественских пирогов! Тащи-ка сюда коляску. Да помоги мне шляпу найти.

Наконец шляпа найдена — соломенная, величиной с колесо, с поблекшими от дождя и солнца бархатными розами; когда-то она принадлежала более франтоватой родственнице. Вдвоем мы вывозим коляску в сад и толкаем ее к пекановой рощице. Это моя детская коляска, ее купили, когда я родился. Она плетеная, но прутья расплетаются, а колеса вихляют, как ноги пьяницы. И все-таки она служит нам верой и правдой: весной мы берем ее в лес и доверху заваливаем цветами, целебными травками и папоротником — потом мы высаживаем все это в горшки на задней веранде; летом, погрузив в нее снедь для пикника и бамбуковые удочки, спускаемся к лесному ручью; да и зимой она не стоит без дела — мы перетаскиваем на ней поленья с заднего двора в кухню, она служит теплой постелью для нашего Королька, выносливого бело-рыжего терьера, перенесшего чумку и два укуса гремучей змеи. Сейчас Королек рысцой бежит за нами.

Три часа спустя мы снова в кухне — чистим пекановые орехи. Мы набрали их полную коляску. У нас спины ломит, так прилежно мы их собирали. Владельцы сада (а это, конечно, не мы) отрясли орехи и продали урожай, и нам так трудно было искать последки, укрывшиеся среди листвы или в заиндевелой, местами обманчиво темной траве... Крак! Скорлупа лопается с веселым треском, и в матовой стеклянной посудине растет золотая горка сладких жирных ядрышек. Королек встает на задние лапы — ему захотелось полакомиться, и подружка моя то и дело украдкой подбрасывает ему орехи. Но при этом она твердит, что мы сами их есть не должны:

— Нельзя, Дружок. Как начнешь есть, не оторвешься. А орехов и так еле-еле хватит. Ведь нам их нужно на целых тридцать пирогов!

В кухне темнеет. Сумрак превращает окошко в зеркало, и сквозь наши отражения уже виднеется восходящая луна. А мы все сидим у камина, освещенные его пламенем, и трудимся. Наконец, когда луна уже совсем высоко, в огонь летит последняя скорлупка; мы дружно и облегченно вздыхаем, глядя, как она загорается. Коляска пуста, посудина наша полна до краев. Мы ужинаем холодными лепешками, свиной, ежевичным вареньем и обсуждаем планы на завтра. Завтра начнется самое для меня интересное — покупки. Мы накупим вишни и лимонов, имбиря и ванили, гавайских ананасов в банках, изюма и цукатов, грецких орехов и виски. Да еще сколько муки, масла, пряностей, сколько яиц! Ей-богу, чтоб дотащить коляску домой, потребуется пони!

Но прежде чем приступить к покупкам, надо выяснить, как у нас с деньгами. Вообще-то у нас их нет. Только если перепадет мелочишка от кого-нибудь в доме (десять центов, по местным понятиям, — очень большая сумма) или мы сами чем-нибудь подработаем: мы сбываем всякую ветошь, продаем ведерками ежевику, варим на продажу джем, яблочный мармелад, персиковое варенье. А однажды мы получили семьдесят девятый приз на общеамериканском конкурсе знатоков футбола — пять долларов. По правде сказать, в футболе мы не смыслим ровнехонько ничего. Просто участвуем в каждом конкурсе, о котором нам доведется узнать. Сейчас главная наша надежда — Большой приз в пятьдесят тысяч долларов, обещанный победителю конкурса на лучшее название для новой марки кофе. (Мы предложили назвать ее «Нектар» и даже придумали текст для рекламы: «Нектар господний дар», — правда, были у нас колебания: подружка моя опасалась, нет ли тут

кошунства.) Но, честно говоря, единственным нашим выгодным предприятием оказался Музей забав и уродств, который мы два года назад устроили в сарае на заднем дворе. Забавой служил стереоптикон для показа видов Нью-Йорка и Вашингтона — мы одолжили его у одной родственницы, побывавшей в этих местах (узнав, для чего мы его брали, она расвирепела), а образчиком уродства цыпленок о трех ногах, отпрыск одной из наших куриц. Взглянуть на цыпленка пожелали все соседи. Входная плата была: для взрослых пять центов, для детей два. Мы собрали, ни много ни мало, двадцать долларов, но потом музей пришлось срочно закрыть — издох главный наш экспонат.

И все же — так или этак — мы умудряемся накопить к рождеству деньги на пироги. Деньги эти хранятся в ветхом бисерном кошельке под полом, под отстающей доской, под тем самым местом под кроватью моей подружки, куда она ставит ночной горшок. Из этого надежного укрытия кошелек извлекается редко; лишь для очередного вклада, да еще по субботам — каждую субботу мне выдается десять центов на кино. Подружка моя никогда в кино не была, и ее туда вовсе не тянет.

— Лучше ты мне потом расскажешь, про что картина, Дружок. Тогда я полней все себе представлю. Да и, знаешь ли, в моем возрасте надо беречь глаза. Когда мне явится Господь, я хочу его видеть ясно.

Она не только ни разу не ходила в кино, она никогда не была в ресторане, не отдалялась от дома больше чем на пять миль, не получала и не отправляла телеграмм; никогда не читала ничего, кроме комиксов и Библии, не употребляла косметики, не ругалась, не желала никому зла, не лгала с умыслом, не пропускала голодной собаки, чтобы ее не накормить. А вот кое-какие ее дела: она убила мотыгой самую большую гремучую змею, какую когда-либо видели в нашем округе (шестнадцать колец на хвосте); она нюхает табак (тайком от домашних); приручает колибри (попробуйте-ка вы! а у нее они качаются на пальце); рассказывает истории о привидениях (оба мы верим в привидения), до того страшные, что от них даже в июле мороз подирает по коже; разговаривает сама с собой; совершает прогулки под дождем; выращивает самую красивую в городе японскую айву; знает рецепты всех древних индейских зелий, в том числе и магического снадобья от бородавок...

После ужина мы уходим в комнатку моей подружки, расположенную в глубине дома. Она спит там под лоскутным одеялом на железной кровати, выкрашенной розовой масляной краской. Розовый цвет — ее любимый. В полном молчании, наслаждаясь своей ролью заговорщиков, мы извлекаем наш кошелек из укрытия и высыпаем его содержимое на одеяло. Вот долларовые бумажки, плотно свернутые и зеленые, словно бутоны в мае. Унылые монеты по полдоллара, такие тяжелые, что ими можно прикрыть глаза мертвеца. Хорошенькие десятицентовые монетки, самые живые из всех — только они одни так задорно звенят. Пятачки и четвертаки, обтершиеся, как голыши в ручье. Но больше всего отвратительных, горько пахнущих медных центов — их целая куча. Прошлым летом мы подрядились убивать мух — другие обитатели дома платили нам по центу за двадцать пять штук. Ну и бойню мы устроили в августе! Мухи возносились прямо на небеса. Но этой работой мы не очень гордились. И сейчас, когда мы пересчитываем грязные центы, нам все кажется, что это дохлые мухи. В счете мы оба слабоваты, дело движется туго, мы сбиваемся, начинаем все снова. По подсчетам моей подружки у нас двенадцать долларов семьдесят три цента, по моим — ровно тринадцать долларов.

— Хорошо бы ты ошибся, Дружок. Это надо ж — тринадцать! Жди беды: либо тесто сядет, либо кто-нибудь из-за нашего пирога угодит на кладбище. Что до меня, так я ни за что на свете тринадцатого с постели не подымусь!

И правда: тринадцатого она всегда целый день проводит в постели. Чтоб уж наверняка избежать опасности, мы берем один цент и швыряем его за окошко.

Из всего, что нам требуется для пирогов, виски — самое дорогое, и его труднее всего раздобыть: в нашем штате — сухой закон. Впрочем, всем известно, что бутылку виски можно купить у мистера Джонса по прозвищу «Ха-ха». И на завтра, покончив с другими,

более обыденными покупками, мы отправляемся в заведение мистера Ха-ха («вертеп», говорят о нем все) — бревенчатую харчевню у реки, где танцуют и угощаются жареной рыбой. Мы здесь бывали и раньше — по тому же самому поводу; но в предыдущие годы переговоры с нами вела жена Ха-ха, коричневая, как йод, индианка с вытравленными перекисью волосами и смертельно усталым лицом. Мужа ее мы никогда в глаза не видели. Только слышали, что он тоже индеец. Огромный такой, и через все лицо — шрамы от бритвы Его прозвали «Ха-ха», потому что он такой мрачный — человек, который никогда не смеется. Харчевня его — большой балаган, увешанный внутри и снаружи гирляндами разноцветных ослепительно-ярких лампочек, — стоит на топком берегу в тени деревьев, по ветвям которых, словно туман, расползается серый мох. Чем ближе мы подходим к харчевне, тем медленнее идем. Даже Королек перестает резвиться и жметя к нашим ногам. Ведь тут, случалось, убивали. Резали на куски. Проламывали черепа. В следующем месяце в суде будет разбираться одно такое дело... Конечно, все это происходит ночью, когда разноцветные лампочки отбрасывают нелепые тени и завывает виктрола. А днем у харчевни обшарпанный и заброшенный вид. Я стучу в дверь, Королек лает, моя подружка кричит:

— Миссис Ха-ха! Мэм! Есть тут кто-нибудь?

Шаги. Дверь распахивается. Сердца наши проваливаются куда-то: да это же мистер Ха-ха Джонс собственной персоной! Он и вправду огромный, на лице у него и вправду шрамы, он и вправду не улыбается. Нет, он посверкивает на нас из-под приспущенных век сатанинскими глазами и грозно спрашивает:

— На что вам Ха-ха?

Мгновение мы стоим молча, парализованные страхом. Потом к подружке моей возвращается голос, и она еле внятно говорит, вернее шепчет:

— С вашего позволения, мистер Ха-ха... Нам нужна кварту вашего лучшего виски. Глаза его превращаются в щелочки. Поверите ли? Ха-ха улыбается. Даже смеется.

— Кто же из вас двоих пьяница?

— Нам в пироги нужно, мистер Ха-ха. В тесто.

Это словно бы отрезвляет его. Он хмурит брови:

— Не дело это, попусту переводить хороший виски.

Но все-таки он исчезает в темной глубине дома и возвращается вскоре с бутылкой без наклейки, в которой плещется желтая, словно лютики, жидкость. Показав нам, как жидкость искрится на свету, он говорит:

— Два доллара.

Мы расплачиваемся с ним мелочью. Он подбрасывает монетки на ладони, словно игральные кости, и лицо его вдруг смягчается.

— Ну вот что, — объявляет он, ссыпав мелочь обратно в наш бисерный кошелек. — Пришлите мне один из этих ваших пирогов, и все.

— Смотри-ка, — замечает на обратном пути моя подружка. — До чего славный человек. Надо будет всыпать в его пирог лишнюю чашку изюма.

Плита, набитая углем и поленьями, светится, словно фонарь из выдолбленной тыквы. Прыгают венички, сбивая яйца, крутятся в мисках ложки, перемешивая масло с сахарным песком, воздух пропитан сладким духом ванили и пряным духом имбиря; этими тающими, щекочущими нос запахами насыщена кухня, они переполняют весь дом и с клубами дыма уносятся через трубу в широкий мир. Проходят четыре дня, и наши труды закончены: полки и подоконник заставлены пирогами, пропитанными виски, — всего у нас тридцать один пирог.

Для кого же?

Для друзей. И не только для тех, что живут по соседству. Напротив, по большей части пироги наши предназначены людям, которых мы видели раз в жизни, а то и совсем не видели. Людям, чем-нибудь поразившим наше воображение. Как, например, президент Рузвельт. Или баптистские миссионеры с Борнео — его преподобие Дж. К. Луси с женой, которые прошлой зимой читали здесь лекции. Или низенький точильщик, два раза в год

проезжающий через наш городок. Или Эбнер Пэкер, водитель шестичасового автобуса из Мобила, — каждый день, когда он в облаке пыли пронесется мимо, мы машем ему рукой, и он машет нам в ответ. Или Уистоны, молодая чета из Калифорнии, — однажды их машина сломалась у нашего дома и они провели приятный часок, болтая с нами на веранде. (Мистер Уистон нас тогда щелкнул своим аппаратом — мы ведь ни разу в жизни не снимались.)

Может быть, совсем чужие или малознакомые люди кажутся нам самыми верными друзьями лишь потому, что подружка моя стесняется всех и не робеет только перед чужими? Думаю, так оно и есть. А кроме того, у нас такое чувство, что хранимые нами в альбоме благодарственные записки на бланках Белого дома, редкие вести из Калифорнии и с Борнео, дешевые поздравительные открытки низенького точильщика приобщают нас к миру, полному важных событий и далекому от нашей кухни, за окном которой стеною стоит небо.

...А сейчас в окошко скребется по-декабрьски голая ветка смоковницы. Кухня уже опустела, все пироги разосланы; вчера мы свезли на почту последние несколько штук. Чтобы купить марок, нам пришлось вывернуть кошелек наизнанку, и теперь у нас ни гроша за душой. Я очень этим подавлен, но подружка моя утверждает, что завершение нашей работы надо отпраздновать, — в бутылке, которую дал нам Ха-ха, осталось еще пальца на два виски. Одну ложку вливаем Корольку в мисочку с кофе — он любит, чтобы кофе был крепкий, с цикорием, остальное делим между собой. Мы оба ужасно боимся пить неразбавленный виски. После первых глотков мы морщимся, передергиваем плечами — брр! А потом начинаем петь, каждый свое. Из своей песни я знаю всего несколько слов: *«Приходи, приходи в негрятянский поселок, собрались все франтихи и франты на бал»*. Но зато я умею танцевать. Вот кем я буду — чечеточником, стану плясать чечетку в кино. Я отплясываю, тень моя мечется по стенам. От нашего пения трясется посуда на полках. Мы хихикаем, будто нас кто-то щекочет. Королек перекачивается на спину, дрыгает лапами, что-то вроде улыбки растягивает его черную пасть. Во мне все горит и искрится, как трещащие в печке поленья, я беззаботен, словно ветер в трубе. Подружка моя кружится в вальсе вокруг плиты, приподняв подол бедной ситцевой юбки, словно это вечернее платье. *«Покажи мне дорогу к дому...»* — напевает она, и ее теннисные туфли поскрипывают в такт. *«Покажи мне дорогу к дому...»*

Кто-то входит. Две родственницы. Обе взбешены. Они буравят нас глазами, дырявят языком. Они взвинчивают себя, слова их сливаются в сплошную мелодию гнева:

— Семилетний ребенок! И от него разит виски! Ты спятила, что ли? Напоить семилетнего ребенка! Какая-то полоумная! Верный путь к гибели! Вспомни-ка двоюродную сестру Кэйт! Дядюшку Чарли! Свояка дядюшки Чарли! Позор! Стыд какой! Срам! На колени! Моли Господа о прощении!

Королек забивается под плиту. Подружка моя разглядывает свои туфли, подбородок ее дрожит. Потом она поднимает подол юбки, сморкается в него и убегает в свою комнату... Весь город давно заснул, в доме все стихло, слышится только бой часов да потрескиванье догорающих угольков в печах, а она все плачет в подушку, мокрую, как носовой платок вдовы.

— Не плачь, — говорю я ей. Я сижу у нее в ногах на постели и дрожу от холода, хотя на мне фланелевая ночная рубашка, пропахшая сиропом от кашля, который мне давали прошлой зимой. — Ну не надо, — я уговариваю ее, щекочу ей пятки, дергаю за пальцы. — Такая старая, и вдруг плачет.

— А все потому... — отвечает она, икая, — ...потому, что я правда совсем старая стала. Старая и смешная.

— Вовсе ты не смешная. Ты веселая. Веселей всех. Послушай, перестань плакать, а то завтра будешь усталая и мы не сможем пойти за елкой.

Она сразу садится. Королек вспрыгивает на кровать, хотя это ему не разрешается, и лижет ей щеки.

— Я знаю. Дружок, где найти красивую елку. И остролист. Ягоды у него огромные, как твои глазищи. Но надо зайти далеко в лес, так далеко мы еще не ходили. Оттуда нам всегда

приносил елку папа, он тащил ее на плечах. Пятьдесят лет с тех пор миновало. Ох, я уже не могу дождаться, поскорее бы утро!

Утро. Трава поблескивает от инея. Солнце, круглое, как апельсин, и оранжевое, как луна в душную летнюю ночь, покачивается на горизонте, заливая блеском посеребренные морозом деревья. Где-то вскрикивает цесарка. Из подлеска доносится хрюканье одичавшего борова. Мы оставляем коляску у быстрого и мелкого, по колено, ручья. Королек переправляется первый, он скулит, шлепая лапами по воде — жалуется на быстрое течение, на ледяную воду, от которой можно схватить воспаление легких. Мы бредем за ним следом, каждый держит над головой свою обувь и снаряжение — топорик и холщовый мешок. Еще с милю сквозь колючки шиповника, вцепляющиеся в нашу одежду, по ржавчине опавшей хвои, расцвеченной кое-где яркими поганками и птичьими перьями. То тут, то там зашуршит или молнией мелькнет с пронзительно-радостным криком пичужка, напоминая нам, что не все птицы улетели в теплые края.

Тропинка вьется сквозь залитые лимонным солнцем прогалины, сквозь темные туннели в зарослях дикого винограда. Еще ручей: вокруг нас вспенивает воду армада потревоженных пестрых форелей, упражняются в прыжках толстые, величиною с тарелку, лягушки, прилежно трудятся бобры, строя плотину. На том берегу уже отряхивается Королек, он весь дрожит. Подружка моя тоже дрожит, но не от холода, а от азарта. Она закидывает голову, чтобы поглубже вдохнуть густой запах хвои, и с одной из облезлых бархатных роз, украшающих ее шляпу, слетает лепесток.

— Мы почти что у цели. Чувствуешь запах, Дружок? — спрашивает она, словно мы приближаемся к океану.

А это и вправду своего рода океан. Целые акры пахучих елей и остролиста его ягоды рдеют, словно китайские фонарики; на них с карканьем устремляются чернью вороны. Набив мешки зелеными с алым ветками остролиста — их хватит для гирлянд на десяток окон, — мы приступаем к выбору елки.

— Она должна быть в два раза выше ребенка, — рассуждает моя подружка. — Чтобы он не мог стащить с верхушки звезду.

Елка, которая нам приглянулась, как раз вдвое выше меня. Стройная, пригожая, а уж здорова! Лишь на тридцатом ударе наших топориков она валится с надрывающим сердце скрипучим криком. Ухватив ее, словно добычу, мы пускаемся в долгий обратный путь. Через каждые несколько шагов мы вынуждены отдыхать садимся и тяжело дышим.

Но радость удачливых охотников придает нам силы. И еще нас подхлестывает бодрящий, льдистый аромат хвои.

На закате мы добираемся по красному глинистому проселку до города. Сокровище наше укреплено на коляске, и многие из встречных хвалят его: до чего славное деревце, говорят они, где вы его раздобыли? Но подружка моя отвечает уклончиво.

— Да так, в одном месте, — еле слышно бормочет она.

Рядом с нами останавливается машина, из окна высовывается ленивая жена богача-мукомола:

— Даю тебе четвертак за эту метлу, — говорит она ноющим тоном.

Обычно подружка моя не любит отказывать, но тут она резко мотает головой:

— Нет, мы ее и за доллар не отдадим.

Жена мукомола не унимается:

— Скажешь тоже, за доллар! Пятьдесят центов, вот моя крайняя цена. Слушай, тетка, ты же можешь себе раздобыть еще одну, совершенно такую же.

— Наверяд ли, — мягко и задумчиво произносит моя подружка. — Все на свете неповторимо.

Дома. Королек шлепается у горящего камина и засыпает до утра. Он храпит громко, как человек.

На чердаке в одном из сундуков хранятся: коробка из-под обуви с горностаевыми

хвостиками (они срезаны с меховой накидки одной весьма странной дамы, снимавшей когда-то комнату у нас в доме), растрепанные мотки порыжевшей от времени канители, серебряная звезда, коротенькая гирлянда допотопных, явно небезопасных в пожарном отношении лампочек, смахивающих на разноцветные леденцы. Украшения расчудесные, но их маловато. Подружке моей хочется, чтобы елка наша сияла, словно окно из цветных стекол в баптистской церкви, чтобы ветви ее клонились под тяжестью украшений, как от толстого слоя снега. Но роскошные японские игрушки, которые продаются у Вулворта, нам не по карману. Поэтому мы, как обычно под рождество, целыми днями сидим за кухонным столом и мастерим украшения сами с помощью ножниц, цветных карандашей и кипы цветной бумаги. Я рисую, подружка моя вырезает. Больше всего у нас кошек и рыбок (их проще всего рисовать), потом яблоки, арбузы, есть и несколько ангелов с крыльями — мы делаем их из серебряной обертки от шоколадок. С помощью английских булавок мы прикрепляем свои изделия к елке и в довершение всего усыпаем ветки комочками хлопка, собранного для этой цели еще в конце лета. Оглядев елку, подружка моя радостно всплескивает руками:

— Нет, честно, Дружок. Ведь ее так и хочется съесть, верно?

Королек и вправду пытается съесть ангела.

Потом мы плетем из остролиста гирлянды для окон, обвязываем зелень лентами. Когда с этим покончено, начинаем готовить подарки для всех наших родственников. Дамам — самодельные шарфики, мужчинам — собственного приготовления снадобье из лимонного сока, лакрицы и аспирина («Принимать при первых симптомах простуды и после охоты»). Но пора мастерить подарки друг для друга. Тут мы начинаем работать порознь, втихомолку. Мне бы хотелось купить в подарок моей подружке перламутровый перочинный нож, приемник и целый фунт вишни в шоколаде (мы один раз попробовали эти конфеты, и с тех пор она постоянно твердит: «Знаешь, Дружок, я могла бы ими одними питаться всю жизнь; вот как Бог свят, могла бы, а ведь я никогда не поминаю его имени всуе»). Вместо этого я мастерю ей бумажного змея. А ей хотелось бы подарить мне велосипед. (Она мне миллион раз говорила: «Если б я только могла, Дружок... Достаточно скверно, что сама не имеешь того, чего хочешь, но когда и другим не можешь подарить то, что им хочется, от этого уже совсем тошно. И все-таки я как-нибудь изловчусь, раздобуду тебе велосипед. Только не спрашивай как. Может быть, украду.») Но я совершенно уверен, что она мастерит мне змея — так же, как в прошлом году и в позапрошлом; а в позапозапрошлом мы подарили друг другу рогатки. По мне, и то и другое неплохо. Мы с ней чемпионы по запуску змея и разбираемся в ветрах, как заправские моряки. Моя подружка ловчее меня, — она умудряется запустить змея даже в затишье, когда облака стоят неподвижно.

В сочельник нам кое-как удается наскрести пяточок, и мы отправляемся к мяснику за обычным подарком для Королька. Покупаем ему хорошую мозговую кость, заворачиваем ее в комикс и подвешиваем на верхушке елки, рядом с серебряной звездой. Королек знает, что она там. Он усаживается под елкой и, словно замороженный, не отрываясь, жадно смотрит вверх. Уже пора спать, а его никакими силами не оттащишь от елки. Я взбудоражен не меньше его. Сбрасываю с себя одеяло, переворачиваю подушку, как в жаркую летнюю ночь. Где-то кричит петух, но это он прежде времени — солнце еще над другой стороной земли.

— Дружок, ты не спишь? — окликает меня из своей комнаты моя подружка. Комнаты наши рядом, и мгновенье спустя она уже сидит со свечкой в руке у меня на кровати.

— Знаешь, у меня сна — ни в одном глазу, — говорит она. — Мысли скачут, как зайцы. Ты как думаешь, Дружок, миссис Рузвельт подаст наш пирог к обеду?

Оба мы беспокойно вертимся, она стискивает мне руку, выражая этим свою любовь.

— А ведь раньше рука у тебя была куда меньше. До чего же мне тяжело видеть, как ты растешь. А когда ты совсем вырастешь, мы все равно будем друзьями?

Я отвечаю, что будем всегда.

— Я так расстроена, Дружок! Мне очень хотелось подарить тебе велосипед. Я пробовала продать камею — папин подарок. Дружок... — Она смущенно останавливается. — ...Я опять смастерила тебе змея.

Тут я признаюсь, что тоже смастерил ей в подарок змея, и мы начинаем хохотать. Свеча догорает, ее уже не удержать в руке. Вдруг она гаснет, и в комнату проникает звездный свет. Звезды размеренно кружатся в окошке, они словно видимые глазу рождественские псалмы, медленно-медленно умолкающие с зарей... Наверное, мы задремали, но первый утренний свет будто обрызгивает нас холодной водой; мы вскакиваем и, тараща глаза от волнения, слоняемся по дому ждем, когда же проснутся остальные. Моя подружка нарочно роняет на кухне чайник. Я отплясываю чечетку перед закрытыми дверями. Постепенно все обитатели дома, один за другим, вылезают из своих спален, и по виду их ясно, что они готовы убить нас обоих. Но нельзя — рождество! Для начала — обильнейший завтрак. Чего тут только нет — и олады, и жаркое из белки, и маисовая каша, и сотовый мед. У всех повышается настроение, но только не у меня и не у моей подружки. По правде сказать, мы ждем не дождемся рождественских подарков, от нетерпения нам кусок не лезет в горло.

Ну так вот, я очень разочарован. Да тут кто угодно разочаруется: мне преподносят носки, рубашку для воскресной школы, несколько носовых платков, поношенный свитер и годовую подписку на детский религиозный журнал «Юный пастырь». Во мне все кипит, ей-богу!

У подружки моей урожай богаче. Самый приятный из полученных ею подарков кулек с мандаринами. Но главный предмет ее гордости — шаль из белой шерсти, связанная замужней сестрой. Впрочем, она уверяет, что больше всего обрадовалась моему змею. Он и вправду очень красивый, хотя и не так хорош, как тот, который мне дарит она. Тот змей голубой, он усыпан зелеными и золотыми звездочками, полученными за примерное поведение, и ко всему на нем краской выведено — ДРУЖОК.

— Дружок, поднимается ветер!

Ветер и впрямь поднялся. Позабыв обо всем, мы бросаемся на лужайку за домом, где Королек зарывает обглоданную кость (и где следующей зимой зароят его самого). Там, продираясь сквозь густую, высокую, по пояс, траву, мы запускаем наших змеев и чувствуем, как они рвутся с бечевки — словно небесные рыбы плывут по ветру и дергают удочки. Согретьшись на солнце, мы, довольные, растягиваемся на траве, чистим мандаринки и смотрим, как мечутся в поднебесье наши змеи. Вскоре я забываю и про носки, и про поношенный свитер. Я так счастлив, будто мы получили тот самый приз в пятьдесят тысяч долларов, который обещан за лучшее название для новой марки кофе.

— Ой, ну и дура же я! — восклицает моя подружка, вдруг встрепенувшись, словно она забыла вынуть лепешки из духовки. — Знаешь, о чем я все думаю? — говорит она таким тоном, будто только что сделала важное открытие, и улыбается, глядя куда-то мимо меня. — Я раньше думала: человек может увидеть Господа, только если он болен или же умирает. И я представляла себе: Господь является в сиянии, прекрасном, как цветное окошко в баптистской церкви, когда в него светит солнце, и таком ярком, что не заметишь даже, как наступит тьма. Большое было утешение думать, что от этого света все страхи исчезнут. А теперь могу об заклад побиться, что так не бывает. Ручаюсь — когда человек умирает, ему становится ясно, что Господь уже являлся ему. Что все вот это... — и она делает широкий жест рукой, показывая на облака, и на наших змеев, и на траву, и на Королька, зарывающего кость, — все, что люди видят вокруг, это и есть Бог. Что до меня, я могла бы покинуть мир, имея перед глазами хотя бы нынешний день.

Это последнее рождество, которое мы проводим вместе. Жизнь разлучает нас. Те, кто уверен, что им надлежит вершить мою судьбу, решают, что меня надо отдать в военную школу. И начинается унылое чередование тюрем, где жизнь подчинена сигналам горна, и мрачных летних лагерей с их опостылевшей побудкой. Теперь у меня другой дом, однако он не в счет. Мой дом там, где живет моя подружка, но больше мне в нем не пришлось побывать.

А она остается там и, как прежде, возится в кухне. Сперва вдвоем с Корольком. Потом

совсем одна. («Дружок, хороший мой, — с трудом разбираю я ее каракули, — вчера лошадь Джима Мейси убила копытом Королька. Хорошо еще, что песик не очень мучился. Я его завернула в простыню из тонкого полотна и свезла в коляске на Симпсонов луг — пусть лежит вместе со всеми косточками, которые там зарывал...»)

Еще несколько раз она печет к рождеству пироги, теперь уже без меня. Печет не так много, как прежде, но печет и, разумеется, всегда присылает мне «самый удачный из всех».

В каждом письме я нахожу монетку в десять центов, обернутую в туалетную бумагу: «Сходи в кино и напиши мне, про что картина». Но мало-помалу она начинает путать меня в своих письмах с другим своим приятелем — тем Дружком, который умер еще в восьмидесятых годах; все чаще и чаще она остается в постели не только тринадцатого числа, но и в другие дни. И наконец наступает по-зимнему холодное ноябрьское утро, когда деревья совсем обнажились и больше не слышно птиц, а подружка моя уже не может подняться с постели, не может воскликнуть:

— Ух ты! Погода — в самый раз для рождественских пирогов!

И когда это случается, я ощущаю это сразу. Сообщение от родных лишь подтверждает весть, которую я каким-то таинственным образом уже получил. И от меня отрывается что-то — незаменимая часть моего существа, — словно рвется бечевка и улетает бумажный змей. Вот почему, проходя в то декабрьское утро по школьному двору, я обвожу глазами небо. Будто надеюсь увидеть двух упущенных змеев, торопливо и дружно улетающих в небеса.

Один из путей в рай
перевод С. Митиной

Однажды в субботу, погожим мартовским днем, когда дул приятный ветерок и по небу плыли облака, мистер Айвор Белли купил у бруклинской цветочницы внушительный букет нарциссов и доставил его — сперва подземкой, а затем пешком — на огромное кладбище в Куинсе. Он не был здесь с прошлой осени, когда хоронил жену. Да и сегодня его привели сюда вовсе не сантименты, ибо в характере миссис Белли, которая прожила в супружестве с ним двадцать семь лет и произвела на свет двух дочерей, успевших за эти годы стать взрослыми и выйти замуж, сочетались свойства весьма разнообразные, по преимуществу трудно переносимые; так что мистер Белли отнюдь не жаждал возобновить общение со столь беспокойным человеком, хотя бы чисто духовное. Вовсе нет. Просто суровой зиме вдруг пришел конец, и в этот чудесный денек, предвещавший весну, ему остро захотелось поразмяться, подышать воздухом, потешить душу хорошей прогулкой; неплохо, конечно, что попутно он сможет в разговоре с дочерьми упомянуть о своей поездке на могилу их матери, — кстати, возможно, это немного умилостивит старшую, а то она как будто возмущена тем, что он с такою охотой зажил на холостяцкий манер.

Кладбище отнюдь не являло собой мирной, отрадной взору картины; напротив, оно наводило жуть: на сотни метров вокруг — серые, словно туман, могильные камни, разбросанные на голой, без единого пятнышка тени равнине, лишь кое-где поросшей чахлою травкой. Ясно видневшиеся вдали небоскребы Манхэттена казались отсюда красивой декорацией — они громоздились, как высоченное надгробие над могилами выжатых до последней капли людей, бывших когда-то, очень давно, жителями Нью-Йорка. При виде столь причудливой композиции мистер Белли — а он был по профессии сборщик налогов и потому умел оценить иронию, пусть самую жестокую, — насмешливо улыбнулся, даже хихикнул, и все-таки... Боже правый! у него поубавилось бодрости, и он уже не так весело вышагивал по прямым, усыпанным гравием кладбищенским дорожкам. Он шел все медленнее и наконец остановился совсем. «Лучше было повести Морти в зоологический сад», мелькнуло у него в голове. (Морти был его трехлетний внук.) Но повернуть сейчас обратно было бы просто хамством, мстительностью по отношению к жене. Да и зачем пропадать букету? Бережливость и добропорядочность заставили его ускорить шаг, и он тяжело дышал от спешки, когда наконец нагнулся, чтобы втиснуть нарциссы в каменную

урну, пустевшую на серой неполированной плите с аккуратными готическими буквами. Надпись на плите уведомляла, что

САРА БЕЛЛИ
1901–1959
в прошлом
ВЕРНАЯ СУПРУГА АЙВОРА
ЛЮБИМАЯ МАТЬ АЙВИ И РЕБЕККИ

Господи, какое все-таки облегчение сознавать, что эта женщина наконец-то умолкла! Но как ни успокоительно было это сознание, подкрепляемое к тому же приятными мыслями о его новой, тихой, холостяцкой квартире, оно уже не могло вновь зажечь в нем внезапно угасшую радость бытия, которую вызвал у него погожий денек, вернуть ему уверенность, что сам-то он будет жить вечно. Выходя из дому, он предвкушал столько удовольствия от прогулки, свежего воздуха, аромата приближающейся весны. А вот сейчас вдруг подумал, что зря не надел шарфа: солнце сияло обманчиво, оно еще не грело по-настоящему, да и ветер что-то вдруг разыгрался вовсю. Расположив покрасивей нарциссы, он пожалел, что нельзя поставить их в воду — тогда они сохранились бы дольше, но потом махнул на цветы рукой и повернулся, чтобы уйти.

Путь ему загоразживала какая-то женщина. Хотя народу на кладбище было немного, он ее не заметил раньше и не слышал, как она подошла. Не давая ему пройти, она мельком взглянула на нарциссы. Потом глаза ее, смотрившие из-за очков в металлической оправе, вновь обратились к мистеру Белли.

— Хм. Родственница? — спросила она.

— Жена, — ответил он и для порядка вздохнул.

Она тоже вздохнула — странный это был вздох; в нем чувствовалось удовлетворение.

— Ох, простите!

У мистера Белли вытянулось лицо:

— Ничего не поделаешь.

— Беда-то какая.

— Да.

— Но она недолго болела? Не мучилась?

— Н-н-нет, — протянул он, переминаясь с ноги на ногу. — Это случилось во сне. — Потом, чувствуя по ее молчанию, что она не удовлетворена столь кратким ответом, добавил: — Сердце.

— Ох ты! Вот и отец мой из-за этого умер. Совсем недавно. Значит, у нас с вами есть кое-что общее, — сказала она и жалобным тоном, от которого ему стало не по себе, добавила: — Нам есть о чем поговорить.

— ...понимаю, каково вам.

— Но они хотя бы не мучились. Это уже утешение.

Запальный шнур, подведенный к терпению мистера Белли, догорал. До сих пор он, как это приличествовало случаю, не поднимал глаз, только вначале бросил на женщину беглый взгляд, а потом ограничивался созерцанием ее туфель, грубоватых и прочных, — такую обувь, именуемую практичной, обычно носят пожилые женщины и сиделки.

— Большое утешение, — сказал он и совершил одновременно три действия: поднял глаза, коснулся борта шляпы и сделал шаг вперед.

Но она опять не дала ему пройти, как будто ее кто-то нанял специально, чтобы его не пускать.

— Вы не скажете мне, который час? А то у меня часики старые, — проговорила она, смущенно хлопывая по какому-то вычурному механизму, красовавшемуся у нее на запястье. — Мне их купили, еще когда я кончила среднюю школу. Так что теперь они ходят

неважно, старые очень. Но вид у них симпатичный.

Мистеру Белли пришлось расстегнуть пальто и извлечь из жилетного кармашка золотые часы. За это время он успел основательно разглядеть стоявшую перед ним женщину, чуть ли не разобрать ее на составные части. В детстве она, вероятно, была совсем светлая, об этом говорило все: и белизна ее чистой скандинавской кожи, и здоровый крестьянский румянец на пухлых щеках, и синева простодушных глаз — такие честные глаза и красивые, несмотря на очки в металлической оправе, но волосы, — по крайней мере, жиденькие кудельки перманента, выглядывавшие из-под серо-бурой фетровой шляпы, — казались бесцветными. Была она чуть повыше мистера Белли — а ему с помощью специальных прокладок в туфлях удалось дотянуть свой рост до метра семидесяти трех — и, должно быть, потяжелей его; во всяком случае, вряд ли она испытывала особое удовольствие, поднимаясь по лестнице. Руки — что ж, типично кухонные руки; ногти — мало того, что обкусаны до мяса, так еще и покрыты каким-то диковинным перламутровым лаком. Простое коричневое пальто, в руках простая черная сумка. Когда он, разглядев все эти частности, снова свел их воедино, оказалось, что перед ним — очень приличная на вид женщина, и она ему явно нравится; правда, этот лак на ногтях внушает подозрение, но все-таки чувствуется — она из тех, кому можно довериться. Так же, как он доверялся во всем Эстер Джексон — мисс Джексон, своей секретарше. Да, да, вот кого она явно напоминает — мисс Джексон. Не то чтоб сравнение это было особенно лестным для мисс Джексон (о которой он как-то раз, в пылу супружеской ссоры, сказал, что она «изящно мыслит и вообще на редкость изящна»). И все же стоявшая перед ним женщина, казалось, исполнена доброжелательности, а именно это свойство он так ценил в своей секретарше мисс Джексон, в Эстер (как он недавно по рассеянности к ней обратился). Он решил даже, что они примерно одного возраста — обеим сильно за сорок.

— Полдень. Ровно двенадцать.

— Подумать только! Да вы, наверно, с голоду умираете! — воскликнула она, и, раскрыв сумку, стала разглядывать ее содержимое, словно это была корзина для пикника, до того набитая всякой снедью, что ее хватило бы на smogasbord7. Потом извлекла оттуда горсть земляных орехов. — Я кроме орешков почти ничего и не ем — с тех самых пор, как папаша... с тех пор, как мне больше не для кого стряпать. Вот я так говорю, а, по правде сказать, сама по своей стряпне соскучилась; папаша всегда говорил, у меня все вкусней, чем в любом ресторане. Но что за радость стряпать для себя одной? Даже если умеешь печь пироги, легкие, как пух. Берите орешки. Угощайтесь. Я только что их поджарила.

Мистер Белли взял орехи. Он всегда их по-детски любил и сейчас, усевшись на могилу жены, чтобы с ними расправиться, думал лишь об одном, — хорошо б, у его новой приятельницы их было побольше. Жестом он предложил ей сесть рядом и с удивлением заметил, что она смутилась. И без того румяные щеки ее покраснелись еще сильнее — можно было подумать, что он предложил ей превратить могилу миссис Белли в любовное ложе.

— Вам-то можно. Вы муж. А я? Разве ей бы это понравилось? Какая-то чужая женщина расселась тут, на ее... на месте ее последнего упокоения...

— Ну что вы! Располагайтесь. Сара ничего не имела бы против, — сказал он, радуясь, что мертвые не могут слышать. Ему стало жутковато и в то же время смешно, когда он подумал, что сказала бы Сара, эта любительница бурных сцен, ревниво осматривавшая его одежду в поисках белокурых волос и следов губной помады, что сказала б она, если бы могла видеть, как он щелкает орехи, рассевшись у нее на могиле вместе с женщиной, не лишенной привлекательности.

И вот тут-то, когда она осторожно присела на краешек могилы, он обратил внимание на ее левую ногу. Нога не сгибалась и торчала, словно она вытянула ее нарочно, чтоб подставлять подножки прохожим. Перехватив его любопытный взгляд, она улыбнулась, подвигала ногой.

— Несчастный случай, понимаете? Я еще маленькая была. Свалилась с русских гор на

Кони-Айленде. Правда. Про это даже в газетах было. Никто не понимает, как я осталась жива. Но колено с тех пор не сгибается. А так мне это ничуть не мешает. Только танцевать не могу. А сами-то вы охотник до танцев?

Мистер Белли помотал головой — рот у него был набит орехами.

— Ага, значит и это у нас с вами общее. Хм... Танцы. Я бы, наверно, любила танцевать. Но не могу. А вот музыку обожаю.

Мистер Белли кивнул в знак солидарности.

— И цветы, — добавила она, потрогав нарциссы. Потом пальцы ее поползли вверх по плите и прошлись по выбитым на мраморе буквам его имени, словно она читала шрифт для слепых.

— Ивор, — прочла она, неверно произнеся его имя. — Ивор Белли. А меня звать Мэри О'Миген. Жаль, что я не итальянка. Вот сестра у меня итальянка; ну, то есть она замужем за итальянцем. Ой, до чего ж он веселый, а добродушный какой и хлопотун, как все итальянцы. Он говорит, никогда не едал макарон вкуснее, чем у меня. Особенно под рыбным соусом. Вам непременно надо их как-нибудь попробовать.

Мистер Белли, покончив с орехами, стряхивал скорлупу с колен.

— Что ж, перед вами еще один любитель макарон. Только я не итальянец. Просто фамилия у меня такая. А сам я еврей.

Она нахмурилась, но не в знак неодобрения, а так, словно сообщение это каким-то непонятным образом смутило ее.

— Мы выходцы из России. Я там родился.

При этих словах она снова воспрянула духом и заговорила еще оживленней:

— А мне наплевать, что там газеты пишут. Я уверена: русские — они такие же, как все. Люди как люди. Вы смотрели по телевизору балет Большого? После такого можно гордиться, что родился в России, верно ведь?

«Она хочет сделать мне приятное», — подумал он и промолчал.

— Свекольник, горячий или холодный, со сметаной. Хм... м... Вот видите, сказала она, снова протягивая ему пригоршню орехов, — вы же проголодались. Бедняжка. — Она вздохнула. — Как вы, наверно, соскучились по домашней стряпне!

Он и в самом деле соскучился и сейчас, когда от разговоров о еде у него разыгрался аппетит, отчетливо это понял. При Саре у них был превосходный стол, разнообразный и вкусный; все всегда подавалось вовремя. Ему вспомнились праздничные, пахнущие корицей дни; вспомнились обеды — аппетитная мясная подливка и винцо, накрахмаленная скатерть, «парадное» серебро и приятная послеобеденная дремота. И ведь вот еще что — ни разу в жизни Сара не попросила его хотя бы тарелку вытереть (он слышал, бывало, как она тихонечко напевает в кухне), ни разу не пожаловалась, что ей надоело хозяйничать. Она ухитрялась так растить девочек, будто их воспитание было ровной чередой радостных, тщательно подготовленных ею событий; участие в нем мистера Белли сводилось к роли восхищенного наблюдателя. И если теперь он мог гордиться своими дочерьми (старшая, Айви, была замужем за хирургом-стоматологом и жила в Бронксвилле, младшая — за А. Дж. Крэкоуэром, совладельцем юридической фирмы «Финнеган, Лэб и Крэкоуэр»), то этим он всецело обязан Саре — обе они были личным ее достижением. Вообще, в пользу Сары можно сказать немало, и ему самому было отрадно, что он так думает, что ему вспоминаются сейчас не те нескончаемые, невыносимые часы, когда она точила на нем язык, разнося его за простецкие манеры и за ею же выдуманные пороки — и в покер-то он играет, и за женщинами волочится, — а совсем другие, приятные, моменты: вот Сара горделиво демонстрирует самодельные шляпки, вот она зимней порой разбрасывает на подоконниках крошки для голубей... Поток видений, сносящий в море сор неприятных воспоминаний... Он почувствовал грусть и обрадовался этому чувству, а вместе с тем огорчился, что не испытывал огорчения до сих пор; но хотя он вдруг совершенно честно отдал должное Саре, он был не в силах притворяться, будто жалеет, что их совместная жизнь кончилась, — ведь в общем-то, сейчас ему живется гораздо приятнее, чем при ней. А все-таки лучше было вместо

этих нарциссов принести ей сегодня орхидею — яркую, праздничную, вроде тех, какие она всякий раз сберегала после дня рождения которой-нибудь из дочек и держала потом в холодильнике, покуда они не завянут.

— ...ведь верно? — услышал он вдруг и не сразу понял, кто это говорит; потом, растерянно поморгав, узнал Мэри О'Миген — голос ее звучал безостановочно, не доходя до его сознания, очень робкий, усыпляющий голос, странно тихий и молодой для такой дородной особы.

— Я говорю, они у вас умницы, верно?

— Да как вам сказать... — осторожно ответил мистер Белли.

— Скромничайте, скромничайте! А я все равно уверена, что умницы. Если они в папу. Ха-ха! Вы не подумайте только, что я это серьезно, я шучу. Нет, правда, до смерти обожаю ребятишек. Не променяю ребенка ни на кого из взрослых. У моей сестры их пятеро: четверо мальчишек и одна девочка. Дот, моя сестра, вечно пристает ко мне, чтобы я с ними посидела, — ведь теперь у меня уйма времени, уже не нужно всякую минуту присматривать за отцом. Они с Франком — это мой шурин, я вам про него рассказывала, — так вот они говорят: Мэри, лучше тебя никто с ребятами не умеет, да еще чтоб от них удовольствие получать! Но это ж так просто: напоить ребятишек горячим какао, а потом пускай всласть пошвыряются подушками — будут спать, как убитые.

— Айви, — прочла она вслух, вглядываясь в надгробную надпись. — Айви и Ребекка. Хорошие имена. Уверена — вы делаете для них все, что только можно. Но две маленьких девочки без матери...

— Да нет же, — возразил мистер Белли. (Ей наконец удалось втянуть его в разговор.) — Айви сама уже мать. А Бекки ждет ребенка.

На лице ее промелькнуло разочарование, но тут же сменилось удивлением:

— Как, уже дедушка? Вы?

У мистера Белли были кое-какие тщеславные заблуждения: ему, например, казалось, что у него больше здравого смысла, чем у других; а еще он считал себя ходячим компасом; луженый желудок и умение читать вверх ногами также способствовали его самоутверждению. Но, глядя на себя в зеркало, он не испытывал особого восторга; не то чтоб он был недоволен своею внешностью, просто он понимал, что она очень так себе. Урожай его темных волос осыпался вот уже несколько десятилетий, и сейчас голова его напоминала обнажившееся поле; нос явно выказывал характер, а подбородок, хоть и усердствовал вдвойне, все-таки был бесхарактерный; плечи широкие, да он и весь был широкий. Разумеется, вид у него был опрятный: он следил, чтобы туфли его всегда сверкали, своевременно отдавал белье в стирку, дважды на дню скоблил и припудривал свои синеватые щеки. Но все это не скрадывало, а скорее подчеркивало его заурядность — ничем не примечательный человек средних лет и среднего достатка. Однако он и не думал оспаривать льстивые слова Мэри О'Миген — ведь что там ни говори, а незаслуженный комплимент зачастую самый приятный.

— Черт, да мне уже пятьдесят один, — сказал он, убавив себе четыре года. Впрочем, нельзя сказать, чтобы я их чувствовал.

Сейчас он и в самом деле не чувствовал своих лет. Может быть, потому что ветер улегся и солнце уже припекало по-настоящему. Как бы то ни было, в нем вновь разгорелась надежда, он вновь был бессмертен и строил планы на будущее.

— Пятьдесят один? Это же пустяки! Самый расцвет для мужчины. Если, конечно, следить за собой. Мужчине вашего возраста нужен уход, о нем кто-то должен заботиться.

Пожалуй, на кладбище человек в безопасности от дамочек, ищущих себе мужа? Мысль эта, внезапно пришедшая ему в голову, остановилась и замерла, покуда он всматривался в простодушное, приветливое лицо Мэри О'Миген, пытаясь прочесть в ее взгляде коварный умысел. Хоть и несколько успокоившись, он все же почел за лучшее напомнить ей, где они находятся.

— А ваш отец... — тут мистер Белли сделал неловкий жест, — он тоже где-нибудь

здесь поблизости?

— Папаша? Да нет. Он был решительно против. Ни в какую не хотел, чтобы его закопали. Так что он дома.

Перед глазами мистера Белли возникло тягостное видение, которое не смогли отогнать даже последующие слова Мэри О'Миген:

— То есть его прах, конечно! Что поделаешь! — Она пожала плечами. — Такова была его воля. А, понимаю: вам невдомек — что же я здесь тогда делаю? Просто я тут неподалеку живу. Неплохая прогулка да и вид...

Разом обернувшись, они стали вглядываться в даль. Над шпилями небоскребов стягами реяли облака, и ослепленные солнцем окна сверкали мириадами слюдяных блесков.

— День прямо для парада! — сказала Мэри О'Миген.

Мистер Белли подумал: «Ей-богу, славная женщина», а потом сказал это вслух, но тут же пожалел; она, разумеется, спросила, почему он так считает.

— Потому что... Ну, у вас это так мило получилось — насчет парада.

— Вот видите, сколько у нас с вами общего! Ни одного парада не пропускаю, — горделиво объявила она. — Обожаю горны. Я и сама на горне играю, — верней, раньше играла, когда была в «Святом сердце»[* Католическая молодежная организация в США (Примеч. пер.)]. Вот вы говорили... — И она понизила голос, словно тема, которой она собиралась коснуться, требовала торжественного тона. — Вот вы сказали, что любите музыку. А у меня дома — тысячи старых пластинок. Ну — сотни. Папаша, пока не ушел на покой, работал на фабрике грампластинок покрывал пластинки шеллаком. Вы Элен Морган помните? Я от нее с ума схожу, просто обалдеваю.

— О Господи, — шепотом выдохнул мистер Белли. Руби Килер, Джин Харлоу это все были его бурные, но преходящие увлечения. А вот Элен Морган — белесый, как альбинос, призрак, усыпанный блесками, переливающимися в огнях рампы, ох, и любил же он ее!

— А вы тогда поверили? Что она спилась и погибла? Из-за какого-то гангстера?

— Ну, какое это имеет значение! Она была очаровательна.

— Иной раз сию я одна и чувствую — все-все мне надоело, и тогда я начинаю воображать, будто я Элен Морган. Будто я выступаю в ночном клубе. Это занятно, знаете?

— Знаю, — подхватил мистер Белли; он и сам обожал придумывать разные истории, которые могли бы с ним приключиться, будь он невидимкой.

— Разрешите спросить, — вы мне не сделаете одно одолжение?

— Если смогу — с удовольствием.

Она набрала побольше воздуха и задержала дыхание, будто ныряя в набегающую волну робости, потом, словно выплыв опять на поверхность, сказала:

— Тогда послушайте, как я ей подражаю. И честно скажите мне свое мнение, хорошо?

Она сняла очки. Их металлическая оправка так сильно врезалась ей в переносицу и подглазья, что казалось, рубцы у нее на лице останутся навсегда. Глаза — оголенные, затуманенные, беззащитные — глядели растерянно, словно напуганные внезапной свободой; веки с реденькими ресницами трепетали, как птицы, долго сидевшие в клетке и неожиданно-негаданно выпущенные на волю.

— А теперь дайте волю своему воображению. Представьте себе, что я сию за роялем... Ох, извините меня, ради Бога, мистер Белли!

— Ничего. Забудьте об этом. Итак, вы сидите за роялем.

— Я сию за роялем, — мечтательно повторила она и, откинув голову, приняла весьма романтическую позу. Потом втянула щеки, рот ее приоткрылся. Мистер Белли тотчас же закусил губу — до того неуместным казалось это чарующее выражение на пухлом, розовом лице Мэри О'Миген. Лучше б оно не появлялось вовсе. Она помолчала, словно пережидая музыкальное вступление, потом: «Не покидай меня, побудь со мною. Ведь мы с тобой одно. Когда ты здесь, вся жизнь озарена тобою. А без тебя так пусто и темно!»

Мистер Белли был потрясен: в точности голос Элен Морган, и голос этот, такой теплый, изысканно-гибкий, нежно вибрирующий на высоких нотах, казалось, был не

имитацией, а принадлежал самой Мэри О'Миген, был естественным выражением ее сущности, скрытой от посторонних глаз. Мало-помалу она перестала позировать и теперь сидела прямо, зажмурив глаза: «...Ты так мне нужен! В горе и в тревоге привыкла я всегда к тебе идти. Не покидай меня! Оставленной тобою, к кому, скажи мне, боль свою нести?» Оба они лишь с большим опозданием заметили, что уединение их нарушено. Черной гусеницей подползала похоронная процессия, и все участники ее, подавленные, безмолвные негры, с таким ужасом глазели на белую пару, словно наткнулись на двух забулдыг, задумавших ограбить могилу; все — кроме маленькой девочки: увидев их, она так и закатилась, а потом никак не могла остановиться; ее судорожный, похожий на икоту, смех слышался еще долго после того, как процессия, отойдя на порядочное расстояние, исчезла за поворотом.

— Будь это моя девчонка... — заговорил мистер Белли.

— Ой, до чего мне стыдно!

— Слушайте, будет вам. Ну что тут такого? Это было прекрасно. Я серьезно. Петь вы можете.

— Спасибо, — сказала она и вновь водрузила на нос очки, словно преграждая путь готовым хлынуть слезам.

— Поверьте, я был тронут. Знаете, чего бы мне хотелось? Чтобы вы спели на бис.

Можно было подумать, что она девочка, которой дали воздушный шарик, но не простой, а особенный: он все раздувался и раздувался, пока не взмыл вместе с нею вверх, и она заплясала в воздухе, лишь изредка касаясь земли носками туфель. Потом опустилась на землю, чтобы сказать: — Только не здесь. Может... — начала было она, но тут же опять воспарила и весело закачалась там, наверху. — ...Может, вы как-нибудь позволите мне угостить вас обедом. Уж я соображу вам настоящий русский обед. А потом мы послушаем пластинки.

...Тревожная мысль, подозрение, еще недавно бесплотным призраком проскользнувшее мимо, сейчас надвигалось на мистера Белли с тяжелым топотом; теперь это было налитое жиром существо, поперек себя шире, и мистер Белли уже не мог его отогнать.

— Благодарю вас, мисс О'Миген. Это очень приятная перспектива, — сказал он, но тут же поднялся, поправил шляпу и обдернул пальто. — Если слишком долго сидеть на холодном камне, можно простудиться.

— Когда же?

— Да никогда. Никогда не надо сидеть на холодном камне.

— Когда же вы придете ко мне обедать?

Мистер Белли умел изворачиваться — от этого в немалой степени зависел его заработок.

— Когда вам угодно, — ответил он как ни в чем не бывало. — Только не в самые ближайшие дни. Я работаю в налоговой системе, а вы ведь знаете, каково нам, беднягам, приходится в марте. Вот так-то, — добавил он, снова вытаскивая часы, — пора мне опять запрягаться.

Но не мог же он — право, не мог — просто так взять и уйти, оставив ее сидеть на Сариной могиле. Она заслужила вежливое обращение, хотя бы одними орехами, да и не только: ведь это благодаря ей он вспомнил про Сарины орхидеи, как они съезжались в холодильнике. И вообще она славная. Чтобы совсем чужая женщина оказалась такой симпатичной — небывалое дело. Лучше всего было бы сослаться на погоду, но погода не давала никаких поводов для жалоб: облака поредели, солнце светило даже чересчур ярко.

— Становится свежо, — объявил он и потер руки. — Может пойти дождь.

— Мистер Белли! Я хочу вам задать один очень личный вопрос, — заговорила она, отчетливо выговаривая каждое слово. — Мне не хотелось бы, чтобы вы думали, будто я приглашаю к обеду каждого встречного и поперечного. Мои намерения... — Глаза ее блуждали, голос дрожал, словно откровенность эта была лицедейством, требовавшим от нее непомерных усилий. — Поэтому я хочу вам задать один очень личный вопрос: думали вы о том, чтобы снова жениться?

В ответ мистер Белли заурчал — так урчит нагревающийся приемник, прежде чем заговорить; когда же он наконец подал голос, звуки его напоминали атмосферные помехи.

— Что вы, это в моем-то возрасте? Я даже собаку заводите не хочу. Что мне нужно? Телевизор. Ну, пива немножко. Покер раз в неделю. Черт подери! Да кому я, к чертям собачьим, нужен?

Но едва он это сказал, как его кольнула мысль о Ребеккиной овдовевшей свекрови, в прошлом — зубной врачихе, Полине Крэкзоуэр, весьма напористой участнице некоего семейного заговора... А Сарина лучшая подруга, настырная «Мышка-Норушка» Поллок? Как ни странно, пока Сара была жива, обожание Мышки-Норушки его забавляло, и при случае он умел им воспользоваться, но после Сариной смерти он в конце концов объявил Мышке, чтобы она ему больше не звонила. (И она заорала в ответ: «Все, что Сара про тебя говорила, чистая правда! Ах ты жирный волосатик, мразь плюгавая!») Ну, а кроме того... Кроме того, есть еще и мисс Джексон! Несмотря на Саринины подозрения, вернее — на твердую ее уверенность, — между ним и симпатичной Эстер, рьяной любительницей кеглей, никогда не было ничего предосудительного, ничего особенно предосудительного. Но он всегда чувствовал — а в последние месяцы окончательно убедился, — что если в один прекрасный день он предложит ей выпить с ним, пообедать, сразиться в кегли... Вслух он сказал:

— Я был женат. Двадцать семь лет. Этого хоть кому на всю жизнь хватит. Но только произнося эти слова, он понял, что именно сейчас у него созрело решение. Да, он непременно пригласит Эстер обедать, потом сыграет с ней в кегли и купит ей орхидею — празднично-яркую пурпурную орхидею с бантом цвета лаванды. А кстати, где проводят молодожены медовый месяц в апреле, самое позднее — в мае? В Майами? На Бермудах? Да, на Бермудах!

— Нет, я никогда не думал об этом. О том, чтобы снова жениться.

Поза Мэри О'Миген выражала напряженное внимание; могло показаться, что она ловит каждое слово мистера Белли, вот только взгляд у нее был отсутствующий, глаза блуждали, словно она, сидя в компании, усердно выискивала какое-нибудь другое лицо, сулящее ей больше надежды. У нее сбежала вся краска с лица, и оно тут же утратило почти всю свою свежесть и привлекательность. Она кашлянула.

Он тоже кашлянул. Потом приподнял шляпу.

— Очень рад был познакомиться с вами, мисс О'Миген.

— И я тоже, — сказала она и поднялась. — Ничего, если я с вами дойду до ворот? Вы не против?

Да, он, безусловно, был против. Ему так хотелось пройтись в одиночестве, насытиться терпкой прелестью сияющего, словно созданного для парада весеннего денька, остаться одному с приятными мыслями об Эстер, со своим радужным настроением, с этой твердой уверенностью, что он никогда не умрет.

— Сделайте одолжение, — ответил он, принаравливаясь к ее медленному шагу, — она шла, слегка припадая на больную ногу.

— Мне ведь и правда казалось, что это разумная мысль... — вдруг сказала она, словно возражая кому-то в споре. — А тут еще старая Энни Остин — живое доказательство... И никто мне не посоветовал чего-нибудь получше. Понимаете, все на меня надели: выходи замуж. С того самого дня, как умер папаша, моя сестра, да и все кругом заладили одно: «Бедняжка Мэри, что с нею станется? На машинке печатать не умеет, стенографии не знает. А тут еще нога и все такое она даже официанткой работать не может. Что станется с девушкой — с взрослой женщиной, которая ничего не умеет, сроду нигде не работала, только стряпала да смотрела за отцом?» Со всех сторон я только и слышу: «Мэри, ты должна выйти замуж».

— Так. Ну, о чем же тут спорить? Такая милая женщина, как вы, непременно должна выйти замуж. Кому-то с вами здорово повезет.

— Безусловно. Вот только кому? — И она выбросила обе руки вперед, словно

протягивая их к Манхэттену, ко всей стране, к далеким континентам. — Вот я и пустилась на поиски; я ведь совсем не ленивая по природе. Но скажите начистоту, в открытую — как женщине найти себе мужа? Ну разве что она красавица-раскрасавица или танцует, как богиня. А если она просто — ну совсем серенькая? Как я?

— Нет, нет, что вы, — пробормотал мистер Белли. — Вовсе вы не серенькая. Нет, нет. А не могли бы вы как-нибудь применить свой талант? Свой голос?

Она остановилась, теребя замок сумочки.

— Не насмехайтесь надо мной. Прошу вас. Ведь речь идет о моей жизни. — И твердо добавила: — Нет, я самая что ни на есть серенькая. Как и старая Энни Остин. А она говорит, единственное место, где я могу найти себе мужа приличного, спокойного человека, — это столбец некрологов в газете.

Мистеру Белли, привыкшему считать себя ходячим компасом, довольно-таки неприятно было обнаружить, что он сбился с дороги, и он почувствовал большое облегчение, увидав метрах в ста кладбищенские ворота.

— Значит, так она и говорит, старая Энни Остин?

— Да. А она женщина очень практичная: умудряется прокормить шестерых на пятьдесят восемь долларов семьдесят пять центов в неделю — тут и еда, и одежда, и все. Когда ее слушаешь, все это кажется очень разумным. Ведь в некрологах полным-полно женихов. Вдовцов то есть. Значит, так: идешь на похороны и выражаешь сочувствие, вот вроде и познакомились. Или погожим денечком сходишь сюда, на кладбище. А то отправляешься в Вудлаун — там всегда прогуливаются вдовцы. Стосковались по домашнему уюту и, может, не прочь снова жениться.

Когда мистер Белли понял, что она говорит вполне серьезно, ему стало не по себе. Но вместе с тем это было забавно, и он рассмеялся, сунув руки в карманы и закинув голову. Вторя ему, Мэри О'Миген рассыпалась коротким смешком, от которого снова порозовела, и проказливо привалилась к плечу мистера Белли.

— Ведь я и сама, — сказала она, хватая его за рукав, — я и сама понимаю, что это смешно... — Вдруг она снова стала серьезной: — Да, но именно так Энни нашла себе мужей. Обоих — сперва мистера Крукшенка, а потом мистер Остина. Значит, это все-таки разумная мысль. Вы не согласны?

— Почему же, согласен.

Она пожала плечами.

— Но у меня ничего не выходит. Взять хоть нас, к примеру. Уж, казалось бы, у нас с вами столько общего!

— Когда-нибудь выйдет, — бросил он, ускоряя шаг, — с другим парнем, побойчее меня.

— Не знаю. Мне попадались чудесные люди. И всякий раз кончалось вот так. Как у нас с вами... — начала было она, но так и не договорила: внимание ее привлек новый пришелец, появившийся в воротах кладбища, — шустрый коротышка с весьма энергичной походкой, весело посвистывавший на ходу. Мистер Белли тоже его заметил и, увидав, что на рукаве его пальто из ярко-зеленого твида нашита черная траурная повязка, проговорил:

— Желаю удачи, мисс О'Миген. Спасибо вам за орехи.

Гость на празднике

перевод С. Митиной

Что вы мне там толкуете о подонках! Уж такого подонка, как Одд Гендерсон, я в жизни не видел.

А ведь речь идет о двенадцатилетнем мальчишке, не о взрослом, у которого было вполне достаточно времени, чтобы у него успел выработаться скверный характер. Во всяком

случае, в тысяча девятьсот тридцать втором году, когда мы, двое второклашек, вместе ходили в школу в захолустном городке сельской Алабамы, Одду было двенадцать.

Худющий мальчишка с грязно-рыжими волосами и узкими желтыми глазами, непомерно долговязый для своего возраста, он прямо-таки громоздился над своими одноклассниками, да иначе и быть не могло — ведь нам, остальным, было всего по семь-восемь лет. В первом классе Одд оставался дважды и теперь уже второй год сидел во втором. Прискорбное это обстоятельство объяснялось вовсе не его тупостью — Одд был парень смышленный, вернее говоря, хитрый. Просто он был типичный Гендерсон. Семейство это (десять душ, не считая папаши Гендерсона, а он был бутлегер и не вылезал из тюрьмы) ютилось в четырехкомнатном домишке рядом с негритянской церковью. Свора хамов и лоботрясов, и каждый только того и ждет, чтобы сделать тебе гадость; Одд был еще не самый худший из них, а это, братцы мои, что-нибудь да значит.

Многие ребята у нас в школе были из семей еще более бедных, чем Гендерсоны: Одд имел хоть пару ботинок, а ведь кое-кому из мальчиков, да и девочек тоже, приходилось разгуливать босиком в самые страшные холода — вот как сильно кризис ударил по Алабаме. Но ни у кого, просто ни у кого не было такого нищенского вида, как у Одда: пугало огородное, тощий, конопатый, в пропотевшем, изношенном до дыр комбинезоне — арестант из кандалной команды и то постыдился бы напялить на себя такой. Одд вызывал бы жалость, не будь он до того отвратный. Его боялись все ребята — не только мы, малыши, но и его одноклассники, и даже те, что постарше.

Никто никогда не затевал с ним драки, лишь однажды на это отважилась Энн Финчберг по кличке Тюля, такая же забияка, как Одд. Тюля эта, низенькая, но крепко сбитая девчонка с мальчишескими ухватками, дралась как черт; в одно прескверное утро во время большой перемены она набросилась на Одда сзади, и трем учителям (каждый из них наверняка ничего не имел бы против, если б сражающиеся стороны растерзали друг друга на куски) пришлось изрядно потрудиться, пока удалось их разнять. Потери были примерно равные: Тюля лишилась зуба и половины волос, а на левом глазу у нее постепенно образовалось бельмо, и зрение так и не восстановилось; Одд вышел из боя со сломанным пальцем и такими глубокими царапинами, что шрамы от них останутся до гробовой доски. Много месяцев потом Одд пускался на всевозможные хитрости, чтобы втянуть Тюлю в новую драку и взять реванш, но Тюля считала — с нее хватит, и обходила его за милую. Я охотно последовал бы ее примеру, но не тут-то было: к несчастью, я стал предметом неусыпного внимания Одда.

Учитывая время и место действия, можно сказать, что существование мое было безбедным: я жил в старом, деревенского типа доме с высокими потолками на самой окраине города, где уже начинались леса и фермы. Дом принадлежал моим дальним родственникам — трем сестрам, старым девам, и их брату, старому холостяку; они предоставили мне кров, ибо в моей собственной семье возникли неурядицы. Начался спор о том, кто же будет меня опекать, и в конце концов в связи с некоторыми привходящими обстоятельствами я очутился у этого, довольно-таки странного, семейного очага в Алабаме. Не скажу, чтобы мне было там плохо; ведь именно на те годы приходятся немногие радостные дни моего в общем-то тяжелого детства, и ими я обязан младшей из трех сестер, которая стала первым моим другом, хотя ей было уже за шестьдесят. Она сама была ребенком (а многие считали — и того хуже, и за спиной говорили о ней так, будто она второй Лестер Таккер — бедолага этот, славный малый, бродил по улицам нашего городка в тумане сладких грез) и потому понимала детей вообще, а уж меня понимала полностью.

Чудно, наверно, когда лучшим другом мальчика становится старая дева за шестьдесят, но у нас обоих были не совсем обычные взгляды на жизнь и не совсем обычные биографии, оба мы были одиноки и неизбежно должны были стать друзьями, обособившись от остальных. За исключением тех часов, которые я проводил в школе, мы трое — я, мисс Соук (как все называли мою подружку) и наш старенький терьер Королек — были неразлучны. Мы выискивали в лесу целебные травы, ходили рыбачить на дальние ручьи (удочками нам служили высохшие стебли сахарного тростника), собирали разные диковинные папоротники

и прочее, а потом высаживали все это в жестяных ведрах и старых ночных горшках вместе с вьющимися растениями. Но в основном жизнь наша была сосредоточена в кухне типично деревенской кухне, где почетное место занимала огромная черная печь; она топилась дровами и зачастую бывала одновременно и темной, и раскаленной, как солнце.

При встрече с чужими мисс Соук съезживалась, как мимоза, и жила затворницей — она никогда не выезжала за пределы нашего округа и ничем не походила на своего брата и сестер, очень земных, несколько мужеподобных дам, которым принадлежал галантерейный магазин и еще несколько торговых заведений в городе. Брат их, дядюшка Б., был владельцем хлопковых полей, разбросанных вокруг города; автомобиль водить он отказывался и вообще не желал иметь дело ни с какими механическими средствами передвижения, а потому весь день трясся в седле, мотаясь с одной фермы на другую. Человек он был добрый, но молчун только и буркнет, бывало, «да» или «нет», а так рта не раскрывал, разве только затем, чтобы поесть. Аппетит у него всегда был как у аляскинского серого медведя после зимней спячки, и задачей мисс Соук было кормить его досыта.

Основательно мы заправлялись только за завтраком; обедали (за исключением воскресных дней) и ужинали чем придется — частенько утренними остатками. А вот за завтраком, подававшимся ровно в половине шестого, мы прямо-таки объедались. У меня и по сей день начинает сосать под ложечкой и делается грустно на душе, стоит только вспомнить эти предзасветные пиршества: ветчина и жареные куры, свиные отбивные, жареная зубатка, жаркое из белки (в сезон, разумеется), яичница, кукурузная каша с вкусной подливкой, зеленый горошек, капуста в собственном соку, хлеб из маисовой муки — мы макали его в подливку, — лепешки, сладкий пирог, оладьи с черной патокой, сотовый мед, домашние варенья и мармелад, молоко, пахта, кофе с цикорием, ароматный и непременно обжигающий, словно адское пламя.

Стряпуха наша вместе со своими помощниками, Корольком и мною, каждое утро поднималась в четыре часа, чтобы растопить печку, накрыть на стол и все приготовить к завтраку. Подниматься в такую рань вовсе не так трудно, как может показаться на первый взгляд; мы к этому привыкли, да и спать ложились, едва сядет солнце и птицы устроятся на ночлег в ветвях деревьев. И потом, подружка моя была совсем не такая хрупкая, какой казалась с виду; хоть после перенесенной в детстве болезни плечи у нее и сторбились, руки были сильные, ноги крепкие. Движения — легкие, точные, быстрые; старые теннисные туфли, из которых она не вылезала, так и поскрипывали на наощенном полу кухни; лицо приметное, с тонкими, хоть и резкими, чертами — и прекрасные молодые глаза говорили о стойкости, порожденной скорее светлой силой духа, чем чисто телесным здоровьем, зримым, но бранным.

Надо сказать, что порою — в зависимости от времени года и числа работников, нанятых на фермы дядюшки Б., — в наших предзасветных пиршествах участвовало до пятнадцати человек; работники раз в день получали горячую пищу, это входило в их оплату. Считалось, что ей помогает по хозяйству прислуга-негритянка, чьим делом было убирать дом, мыть посуду, стирать белье. Прислуга эта была нерадивая и ненадежная, но мисс Соук дружила с нею с детских лет, а потому даже слышать не хотела о том, чтобы ее сменить, и попросту делала всю работу по дому сама: колола дрова, кормила поросят и птицу (у нас было много кур и индюшек), скребла полы, сметала пыль, чинила всю нашу одежду; но когда я приходил из школы, она неизменно готова была составить мне компанию — сыграть в детские карты[*Карты для детской игры под названием «Рук», которая состоит в том, чтобы подбирать комбинации из определенных рисунков], убежать в лес за грибами, пошвыряться подушками; а потом мы сидели на кухне и в меркнувшем свете дня готовили мои уроки.

Она любила разглядывать школьные учебники, особенно атлас.

— Ах, Дружок, — говаривала она (так она меня называла — Дружок). Подумать только, озеро Титикака. Есть же такое на белом в свете!

Собственно говоря, учились мы вместе. В детстве она очень болела и в школу почти не

ходила. Ну и почерк был у нее — сплошные крючки и закорючки; слова она произносила на свой, совершенно особый манер. Я уже писал быстрее и читал более бегло, чем она, хоть она и умудрялась ежедневно «проходить» главу из Библии и никогда не пропускала «Сиротки Энни» или «Ребята-постреляты» (комиксов, печатавшихся в городской газете Мобила). Она прямо-таки неимоверно гордилась моими табелями («Надо же, Дружок! Пять отличных отметок. Даже по арифметике. Я и надеяться не смела, что мы получим такую оценку по арифметике»). Для нее было загадкой, почему я так ненавижу школу, почему иной раз по утрам плачу и умоляю дядюшку Б., которому принадлежал решающий голос в семье, чтобы он позволил мне остаться дома.

Ненавидел-то я, конечно, не школу; я ненавидел Одда Гендерсона. Как же изобретателен он был в своем мучительстве! Ну, скажем, подкарауливает меня под черным дубом, затеняющим край школьного двора; в руке у него — бумажный пакет, доверху набитый репьями, которые он собрал по дороге в школу. Улизнуть от него нечего и пытаться. Бросится на меня с быстротой гремучей змеи, прижмет к земле, а у самого глазачелочки так и горят, и давай втирать мне репьи в волосы. Обычно нас кольцом окружали другие ребята, они хихикали — верней, притворялись, будто им весело; на самом деле им не было смешно, но они трепетали перед Оддом и старались ему угодить. Потом, в школьной уборной, я выдираю репьи из сбившихся колтуном волос, на это уходила уйма времени, и я постоянно опаздывал на первый урок.

Мисс Армстронг, у которой мы учились во втором классе, сочувствовала мне она догадывалась, что происходит, — но в конце концов, раздраженная моими вечными опозданиями, как-то набросилась на меня перед всем классом:

— Изволили пожаловать, наконец. Скажите на милость. Этакая важная персона! Как ни в чем не бывало заявляется в класс через двадцать минут после звонка. Нет, через полчаса.

И тут я не выдержал — показал на Одда Гендерсона и крикнул:

— На него орите. Это все он, распросукин сын!

Ругаться я умел здорово, но сам ужаснулся, когда слова мои прозвучали в зловеще притихшем классе, а мисс Армстронг подошла ко мне, зажав в кулаке тяжелую линейку, и приказала:

— Ну-ка, вытяните руки, сэр. Ладонями вверх, сэр.

И на глазах у Одда Гендерсона, взиравшего на эту сцену с ядовитой улыбочкой, принялась бить меня окованной медью линейкой, била до тех пор, пока ладони мои не покрылись волдырями и классная комната не поплыла у меня перед глазами.

Перечень изощренных пыток, которым подвергал меня Одд, занял бы целую страницу, напечатанную петитом, но больше всего меня бесило и терзало непрерывное, напряженное их ожидание. Как-то раз, когда он прижал меня к стене, я спросил его напрямик — что я ему сделал, почему он так меня ненавидит; он вдруг отпустил меня и сказал:

— Ты — тютя. Просто я делаю из тебя человека.

И он был прав, во многих смыслах я действительно был тютя, и когда он это сказал, я понял — мне его мнения не изменить, остается только одно: крепиться, признать, что я в самом деле тютя, и отстаивать за собой право быть таким, какой я есть.

Стоило мне очутиться в мирном тепле нашей кухни, где Королек грыз зарытую им впрок и заново выкопанную косточку, а подружка с трудом разжевывала корку от пирога, как бремя страха сваливалось с моих плеч. Но как часто во сне передо мною маячили узкие львиные глаза и тонкий пронзительный голос буравил мне уши, угрожая жестокой расправой.

Спальня подружки была рядом с моей; случалось, что, истерзанный ночными кошмарами, я будил ее своим криком; тогда она приходила и, взяв меня за плечо, стряхивала это гендерсоновское наваждение.

— Послушай, — говорила, бывало, она, зажигая лампу, — ты даже Королька напугал. Он весь трясется. — А потом: — У тебя не лихорадка? Ты весь мокрый, хоть выжми. Может, нам пригласить доктора Стоуна?

Но она знала, это не лихорадка, знала — все это из-за моих бед в школе, ведь я без конца рассказывал ей, как Одд Гендерсон надо мной измывается.

А потом перестал рассказывать, даже не упоминал об этом — она не желала верить, что на свете бывают такие дурные люди. По своей душевной чистоте, не нарушаемой вторжением внешнего мира (мисс Соук жила очень обособленно), она просто представить себе не могла, что зло существует в такой совершенной, законченной форме.

— Да ну, — скажет она бывало, растирая мои похолодевшие руки — Это он к тебе цепляется просто из зависти. Где ему до тебя, ты же у нас красавчик-раскрасавчик. — Или уже без шуток: — Ты вот о чем помни, Дружок, он ведь не может не гадить, этот мальчишка, просто ни к чему другому не приучен. Всем гендерсоновским ребятам туго приходится. А виноват папаша Гендерсон. Не люблю говорить о людях дурно, но этот человек — он всегда был безобразник и лоботряс. А ты знаешь, Дружок, что дядюшка Б. однажды отхлестал его? Увидел, как тот избивает собаку, и тут же, на месте, его отхлестал. А правильной всего сделали, когда его забрали и отправили на тюремную ферму. Но мне вспоминается Молли, какой она была до того, как вышла замуж за папашу Гендерсона. Лет пятнадцати или шестнадцати, только что приехала откуда-то из-за реки. Работала у Сейды Денверс — знаешь, дальше по нашей улице, — училась на портниху. Проходит, бывало, здесь, видит, я в саду, мотыжу землю; вежливая такая девушка, волосы красивые, рыжие, и так за всякую малость благодарна; дам ей другой раз букетик душистого горошка или камелию, и уж она так благодарит, так благодарит. Потом вижу — прогуливается под ручку с папашей Гендерсоном, а ведь он куда старше ее и отъявленный мерзавец, что пьяный, что трезвый. Что ж, у Господа Бога свои резоны. Только жаль Молли, ведь ей сейчас не больше тридцати пяти, и вот тебе, пожалуйста: ни единого зуба и в банке ни гроша. Зато полон дом детей, а их надо кормить. Ты обо всем этом помни, Дружок, и терпи.

Терпи, а? Ну что проку было вступать с нею в спор! Однако в конце концов мисс Соук поняла всю глубину моего отчаяния. Осознала постепенно, незаметно не оттого, что я будил ее по ночам своими воплями, не оттого, что молил дядюшку Б. позволить мне не ходить в школу. Случилось это как-то в дождливые ноябрьские сумерки, когда мы сидели вдвоем в кухне у догорающей печки; ужин был закончен, тарелки вымыты и составлены стопкой. Королек похрапывал, уютно свернувшись в кресле-качалке. До меня доносился едва слышный голос моей подружки, он вплетался в шум барабанившего по крыше дождя, но я думал о своих бедах и пропускал ее слова мимо ушей; уловил только, что речь идет о Дне благодарения — до него оставалась какая-нибудь неделя.

Ни мои двоюродные сестры, ни мой брат не имели своей семьи (дядюшка Б. чуть было не женился, но невеста вернула ему кольцо, узнав, что ей придется жить под одной крышей с тремя старыми девами, которые к тому же известны своими причудами); зато у них была многочисленная родня здесь же, в округе: уйма двоюродных и троюродных братьев, да еще тетюшка, миссис Мэри Тейлор-Уилрайт, ста трех лет от роду. Наш дом был самый большой и расположен очень удобно для всех, так что в семье сложилась традиция: вся родня съезжалась к нам каждый год в День благодарения; набиралось, как правило, человек тридцать, не меньше, но нельзя сказать, что это было для нас обременительно. Мы только накрывали на стол да подавали в изобилии индеек с яблоками.

Остальное угощение привозили гости, каждый — свое фирменное блюдо: троюродная сестра хозяев Гарриет Паркер из Фломатона делала изумительный десерт — прозрачные ломтики апельсина со свежим мелко нарезанным кокосовым орехом; ее сестра Алиса обычно привозила пюре из бататов с изюмом; племя Конклинов (мистер Билл Конклин, его жена и четверо красивых дочерей) обычно прибывало с батареей банок — там были необыкновенно вкусные овощи, законсервированные летом. Любимым моим блюдом был холодный банановый пудинг его приготавливала древняя тетюшка, которая, несмотря на столь почтенный возраст, все еще усердно хлопотала по дому; к нашему прискорбию, рецепт пудинга, сохранявшийся ею в секрете, она унесла в могилу, а умерла она в тридцать четвертом году в возрасте ста пяти лет (причем вовсе не от старости: на пастбище на нее бросился бык и

затоптал насмерть).

Мисс Соук обстоятельно высказывалась по поводу предстоящего праздника, а мои мысли блуждали по обычному лабиринту, печальному, как эти сырые сумерки. Вдруг она стукнула костяшками пальцев по кухонному столу:

— Дружок!

— Что?

— Ты же меня совсем не слушаешь.

— Прости.

— Я прикинула: на этот раз нам понадобятся пять индеек. Я сказала дядюшке Б., а он говорит, что резать их будешь ты. И потрошить тоже.

— Но почему я?

— Он говорит, мальчик должен такое уметь. Убой скотины и птицы входил в обязанности дядюшки Б. Для меня было пыткой смотреть, как он закалывал кабана или хотя бы сворачивал шею цыпленку. И для моей подружки тоже; самое кровавое зверство, на какое мы были способны, — бить хлопущей мух; так что я был озадачен, когда она вот так, между прочим, упомянула о его распоряжении.

— А я не буду.

Тут она улыбнулась.

— Ясное дело, не будешь. Я приспособлю для этого Баббера или еще какого-нибудь негритенка. Дам ему никель. А дядюшке Б. скажем, — добавила она, переходя на заговорщический шепот, — будто их резал ты. Тогда он успокоится и перестанет твердить, что это никуда не годится.

— Что именно?

— А то, что мы все время вместе. Он говорит, у тебя должны быть другие друзья, мальчишки твоего возраста. Что ж, он прав.

— Не нужно мне других друзей.

— Будет тебе, Дружок, будет. Ты для меня — просто спасение. Не знаю, что бы я без тебя делала. Просто стала бы старой брюзгой. Но я хочу, чтобы ты был счастлив, Дружок. Чтобы был сильный, чувствовал себя в жизни уверенно. А этому не бывать, если ты не научишься ладить с такими людьми, как Одд Гендерсон, и делать их своими друзьями.

— С Оддом! Вот уж с кем ни за что на свете не стал бы дружить.

— Прощу тебя, Дружок, пригласи его к нам на обед в День благодарения.

Хоть нам и случалось повздорить друг с другом, мы никогда не ссорились. Сперва я подумал, что это так, просто неудачная шутка; но убедившись, что подружка моя говорит совершенно серьезно, понял, что дело идет к разрыву, и был ошарашен.

— А я думал, ты мне друг.

— Так оно и есть.

— Будь это так, ты бы до такого не додумалась. Одд Гендерсон меня ненавидит. Он мне враг.

— Быть того не может, чтобы он тебя ненавидел. Просто он тебя не знает.

— Пусть так, но я ненавижу его.

— Потому что ты его не знаешь. А мне только одно надо: дать вам возможность узнать друг друга, хоть немножко. Тогда, думается мне, все твои беды кончатся. А может быть, ты и прав, Дружок, может, вы, ребята, так и не подружитесь. Но уж цепляться к тебе он, надо полагать, перестанет.

— Ты просто не понимаешь. Ведь с тобой такого не бывало, чтобы ты кого-нибудь ненавидела.

— Правда, не бывало. Нам отпущено на земле не так уж много времени, и зачем это надо, чтобы Господь видел, как я трачу свое на подобную ерунду.

— Не стану я его приглашать. Он подумает, я спятил. И будет прав.

Дождь перестал, наступила гнетущая тишина, она все длилась и длилась. Ясные глаза моей подружки смотрели на меня, словно я — игральная карта и она раздумывает, как ею

пойти; отбросив со лба седую прядь, она вздохнула.

— Тогда я сама его приглашу. Завтра же. Надену шляпу и схожу навещу Молли Гендерсон. — Заявление это подтвердило серьезность ее намерений. Я сроду не слыхивал от мисс Соук, что она собирается кого-то навестить — и не только потому, что она совершенно не умела общаться с людьми, но еще и потому, что была чересчур скромна и не рассчитывала на радушный прием. — Вряд ли они так уж пышно будут праздновать День благодарения. Наверняка Молли обрадуется, что Одд сможет побывать у нас. Ой, я знаю, дядюшка Б. ни за что бы не разрешил, но как хорошо было бы пригласить их всех!

От моего хохота проснулся Королек; мисс Соук удивленно помолчала, потом тоже расхохоталась. У нее порозовели щеки и засветились глаза; она поднялась, крепко обняла меня и сказала:

— Ну вот, Дружок, так я и знала — ты перестанешь сердиться и согласишься, что в моей затее есть какой-то смысл.

Но она ошибалась. Веселился я совсем по другой причине. Даже по двум. Во-первых, я представил себе чудную картину: дядюшка Б. разрезает индейку, чтобы угостить всех этих скандалистов Гендерсонов. А во-вторых, я вдруг сообразил, что беспокоиться-то вовсе не о чем: пусть даже мисс Соук передаст приглашение, а мать Одда примет его, все равно самого Одда нам не видать, прожди мы хоть миллион лет, уж очень он гордый. К примеру, в годы кризиса все ребята у нас в школе, чьи семьи так нуждались, что не могли давать им с собою завтрак, получали молоко и сэндвичи бесплатно. Однако Одд, хоть и отощал донельзя, наотрез отказывался от этих подачек; удерет куда-нибудь и съедает в одиночку пригоршню арахиса, а не то грызет с хрустом большую репку. Такая вот гордость свойственна всей гендерсоновской породе; они могут украсть, содрать золотую коронку с зуба мертвеца, но ни за что не примут подаяния, если оно сделано в открытую, — все, что попахивало благотворительностью, было для них оскорбительно. А Одд, безусловно, воспримет приглашение мисс Соук как благотворительный жест или заподозрит в нем — и не без основания — ловкий трюк, рассчитанный на то, чтобы заставить его от меня отвязаться.

В тот вечер я пошел спать с легким сердцем; я был уверен, что День благодарения не будет омрачен для меня присутствием столь нежеланного гостя.

На другое утро я проснулся с жестокой простудой; это в общем-то было неплохо, ибо означало, что можно пропустить школу. А еще это означало, что в комнате у меня затопят печь, я получу суп с томатной пастой и несколько часов смогу пробыть наедине с мистером Микобером и Дэвидом Копперфилдом; словом, остаться на весь день в постели по такому поводу — одно удовольствие. Как и вчера, шел дождь, но подружка моя, верная своему слову, достала шляпу соломенную, величиной с колесо, украшенную поблекшими от дождя и солнца бархатными розами, — и направилась к дому Гендерсонов.

— Я мигом вернусь, — пообещала она. А сама пропала на добрых два часа. Я никак не думал, что мисс Соук в состоянии выдержать столь длительное собеседование — разве что со мной или с самой собой (она часто говорила сама с собою; привычка эта встречается у людей совершенно нормальных, но от природы склонных к одиночеству).

Вернулась она вконец обессиленная. Не снимая шляпы и просторного старого дождевика, сунула мне в рот градусник, потом села в изножье кровати.

— Мне нравится Молли, — сказала она твердо. — И всегда нравилась. Она делает все, что в ее силах, и в доме чисто, как под ногтями у Боба Спенсера (этот самый Боб Спенсер был проповедник в баптистской церквушке, известный чистюля), но дико холодно. Крыша железная, по комнатам гуляет ветер, а в камине — ни полешечка. Она спросила, чем меня угостить, и, хоть, по правде говоря, мне бы очень не повредила чашка кофе, я ответила: спасибо, ничего не надо. Потому что вряд ли в доме есть кофе. И сахар.

Мне стало до того стыдно, Дружок. Больно смотреть, когда человек вот так бьется, как Молли. Дня светлого в жизни не видит. Я вовсе не считаю, что люди должны иметь все, что хотят. А с другой стороны, если вдуматься, так почему бы и нет? Тебе хорошо бы иметь велосипед, а Корольку — почему бы ему не получать каждый день мозговую косточку? Да,

теперь до меня дошло: люди действительно должны иметь все, что им нужно. Готова никель прозакладывать — именно такова воля Господня. А когда повсюду видишь людей, которые лишены самого насущного, прямо стыдно становится. Да нет, не за себя — кто я такая, ничтожная старуха, никогда гроша за душой не имела; ведь меня семья содержит; не будь семьи, я умерла бы с голоду, а не то угодила бы в богадельню. Мне за всех нас стыдно у нас-то всего в избытке, а у других совсем ничего нет.

Я и говорю Молли — у нас стеганых одеял столько, нам до скончания века хватит с лихвой, на чердаке целый сундук набит лоскутными одеялами, я их выстегала еще девочкой, когда почти совсем не могла выходить из дому. Но она меня сразу оборвала, говорит: у нас все есть, спасибо вам; говорит: нам бы только чтобы папашу Гендерсона выпустили и он мог вернуться в семью. «Мисс Соук, — говорит. — Папаша — хороший муж, какой бы он там ни был». А ведь бьется одна с девятью ребятами — и кормить их надо, и одевать.

И знаешь, Дружок, видно, ты неправ насчет Одда. Во всяком случае, отчасти. Молли говорит, он для нее большая подмога и утешение. Сколько ни навали на него работы по дому, все сделает без звука. Говорит, он поет хорошо, не хуже, чем по радио передают, и когда малыши поднимают тарарам, он может их угомонить, стоит ему только запеть. Боже милостивый, — жалобно проговорила она, вынимая у меня изо рта градусник, — все, что мы можем сделать для таких людей, как Молли, это относиться к ним уважительно и поминать их в своих молитвах.

Все это время я молчал из-за градусника, а теперь решительно спросил:

— Так как же с приглашением?

— Иной раз, — сказала она, всматриваясь в красный столбик на шкале градусника, — мне кажется, у меня сдают глаза. В моем возрасте уже начинаешь очень внимательно ко всему приглядываться, чтобы потом можно было что хочешь вспомнить, даже узор паутины. А теперь отвечу на твой вопрос: Молли до того обрадовалась, что ты приглашаешь Одда на такой праздник, — ведь это значит, что ты о нем достаточно хорошего мнения. — И, оставив без внимания вырвавшийся у меня стон, добавила: — Она ручается, Одд будет очень польщен и придет непременно. Температура у тебя еще повышенная. Думаю, можно рассчитывать, что тебя и завтра оставят дома. При таких вестях положено улыбаться! Ну-ка, живо, Дружок, улыбнись!

Случилось так, что в оставшиеся до праздника дни я наулыбался вдоволь. Простуда моя перешла в бронхит, я был избавлен от школы на целую неделю. Словом, у меня не было возможности увидеть своими глазами, как Одд Гендерсон отнесся к приглашению. Вернее всего — сперва расхохотался, а потом плюнул. Меня не особенно мучила мысль, что он, чего доброго, и в самом деле пожалуется, — это было столь же маловероятно, как если бы Королек вдруг зарычал на меня, а мисс Соук обманула мое доверие.

И все-таки Одд не шел у меня из головы — зловещая рыжеволосая тень на пороге праздничной радости. И потом, мне не давало покоя то, что рассказывала о нем мать. А что, если у него и правда есть другие стороны и где-то под толщей зла таится искорка человечности? Нет, быть не может! Поверить в это все равно что оставить дом незапертым, когда в городе появились цыгане. Да что там, достаточно на него посмотреть.

Мисс Соук знала, что бронхит у меня не такой уж сильный, что я больше прикидываюсь; и поэтому утром, когда остальные отправлялись кто куда — дядюшка Б. - на свои поля, а сестры — в галантерейный магазин, мне разрешалось вылезать из постели и даже помогать ей: перед всеобщим сбором на День благодарения она всегда затевала уборку, как перед Пасхой. Дел было невпроворот, их хватало бы и на пять человек. Мы полировали мебель в гостиной — пианино, горку черного дерева (где лежал только кусочек от Стоун-Маунтин[*Незаконченный мемориал в честь южан — участников Гражданской войны 1861–1865 гг., высеченный в скале Стоун-Маунтин] — сестры привезли его, когда ездили по делам в Анланту), чинные ореховые кресла-качалки, бидермейеровские шкафы и диваны с вычурной резьбой, усердно натирали воском с крепким запахом лимона, и вот в доме все стало глянцевое, как лимонная корка, заблагоухало, как роща цитрусовых. Занавески были

выстираны и повешены снова, ковры выбиты; по высоким комнатам, искрясь в лучах ноябрьского солнца, всюду, куда ни глянь, носились пылинки и обрывки перьев. Беднягу Королька выдворили в кухню — как бы не обронил в парадных комнатах шерстинки, а то и блохи.

Всего труднее было подготовить салфетки и скатерти, которые должны были украсить праздничный стол. Столовое белье принадлежало еще матери моей подружки, та получила его в подарок к свадьбе; хотя им пользовались только раза два в год (в общей сложности, стало быть, раз двести за последние восемьдесят лет), ему, как ни говори, было все восемьдесят, и оно было испещрено заплатками, штопками, следами от выведенных пятен. Может быть, материал сам по себе был неважный, но мисс Соук обращалась со скатертями так, словно они сотканы золотыми руками на небесных станках.

— Мама говаривала: «Быть может, наступит пора, когда мы сможем подать гостям лишь родниковую воду и черствый кукурузный хлеб, но уж, по крайней мере, стол будет покрыт хорошей скатертью».

По вечерам, когда дом уже был погружен в темноту, подружка моя, натоптавшись за день, допоздна сидела в постели при слабом свете одинокой лампы; на коленях у нее лежал ворох салфеток, она штопала их, чинила, маскировала пятна; лоб ее был сосредоточенно наморщен, сощуренные от напряжения глаза сияли усталым восторгом паломника, приближающегося к святыням в конце своего пути.

Далеко, на башне суда, били куранты: сперва десять, потом одиннадцать, двенадцать, каждый раз от их дребезжащего звука я просыпался и, видя, что свет у нее все горит, сонный шлепал к ней в комнату и укорял ее:

— Тебе давным-давно пора спать!

— Еще минутку, Дружок. Я не могу сейчас бросить. Как подумаю, сколько соберется народу, жуть берет. Просто голова идет кругом, — говорила она, отрываясь от шитья, и терла усталые глаза. — Так и кружится вместе со звездами.

Хризантемы: некоторые величиной с голову ребенка. Пучок кудрявых бронзоватых лепестков, отливающих снизу бледно-лиловым.

— Хризантемы похожи на львов, — рассуждала моя подружка, пока мы с ножницами-гильотиной расхаживали по пестрому саду, живой цветочной выставке. Что-то в них есть от царя зверей. Я всегда так и жду, что они бросятся на меня. Зарычат, взревет и прыгнут.

Такие вот рассуждения и заставляли людей думать о мисс Соук всякое; до меня это дошло много позже, потому что я всегда совершенно точно понимал, что она хочет сказать. А тут самая мысль — приволочь этих великолепных, рычащих, ревущих львов в дом и запихнуть их в клетки, аляповатые вазы (этим обычно мы довершали праздничное убранство дома), — так нас пьянила, что мы все хохотали, как дурачки, и совсем запыхались.

— Ты взгляни на Королька, — еле выговорила моя подружка, давась от смеха. — На уши посмотри, Дружок: стоят торчком. Думает: что это за полоумные такие, чего я с ними связался? Ах, Королек! Поди сюда, мой хороший. Дам тебе лепешку. Ой, постой-ка: обмакну ее сперва в горячий кофе.

Славный денек, этот праздник Благодарения. Такой славный — то брызнет дождик, то вдруг прояснится, в разрыв между облаками яростно вломится солнце, и разбойник-ветер примется срывать с деревьев последние листья осени.

Звуки в доме тоже радуют душу: бряканье сковородок и кастрюль, заржавелый от редкого употребления голос дядюшки Б. - в выходном костюме (таком новеньком, что кажется, он вот-вот заскрипит) дядюшка стоит в прихожей, встречая гостей. Мало кто приезжал верхом или в запряженном мулами фургоне все больше в вымытых до блеска грузовичках или дешевых легковушках, этаких дребезжащих драндулетах. Мистер Конклин, его жена и четверо красавиц дочерей прикатывали в ярко-зеленом «шевроле» образца 1932 года (мистер Конклин был человек состоятельный: ему принадлежало несколько судов, ходивших на лов из Мобила), и машина эта вызывала почтительное любопытство у остальных гостей мужского пола; они разглядывали ее, ощупывали, только что на части не

разбирали.

Первой прибыла миссис Мэри Тейлор-Уилрайт в сопровождении опекающих ее лиц — внука с женой. Симпатичная, маленькая такая старушка была эта миссис Уилрайт; бремя своих лет она несла так же легко, как красную шляпку, которая лихо сидела на ее молочно-белых волосах, словно вишня — на ванильном пломбире.

— Бобби, голубчик, — сказала она, обнимая дядюшку Б. — Я понимаю, мы рановато, но ты же меня знаешь, я до того точная, даже слишком.

Извинение вполне уместное, если учесть, что не было еще и девяти, а гостей ждали никак не раньше полудня.

Впрочем, до полудня съехались решительно все — за исключением Перка Макклауда с семьей, у них на тридцати милях дважды спускал баллон, и они ворвались в дом с таким топотом, особенно сам мистер Макклауд, что мы испугались за фарфор. Почти все наши гости круглый год сидели безвылазно в глуши, откуда выбраться было не так-то просто: на одиноких фермах, на полустанках, на пересечении проселков, в опустевших приречных деревушках или же в лагерях лесорубов, где-нибудь в чаще сосняка; потому-то, снедаемые нетерпением, они приезжали раньше времени, предвкушая приятнее застолье, о котором потом долго будут вспоминать...

И правда вспоминали. Не так давно я получил письмо от одной из сестер Конклин, ныне жены капитана дальнего плавания, живущей в Сан-Диего. Вот что она пишет: «Я часто вспоминаю тебя в это время года — должно быть, из-за того, что произошло на одном из наших семейных празднеств в Алабаме на День благодарения. Дело было за несколько лет до смерти мисс Соук — по-моему, году в тридцать третьем? Ей-богу, этого дня мне не забыть никогда».

К полудню гостиная была набита до отказа, напоминая улей жужжанием женской болтовни и сладкими ароматами: миссис Уилрайт благоухала сиреневой водой, а Аннабел Конклин — спрыснутой дождем геранью. Запах табака реял над верандой мужчины сгрудились там, хотя погода была капризная: то начинал брызгать дождь, то налетал ветер, и тогда солнце заливало все вокруг. Табак как-то не вязался со всей этой картиной: правда, мисс Соук то и дело брала потихоньку понюшку привычка, которую она неизвестно у кого переняла и обсуждать которую отказывалась наотрез; сестры ее пришли бы в ужас, проведая они об этом, равно как и дядюшка Б. — он вообще был решительным противником всех стимулирующих средств, осуждая их с точки зрения нравственной и медицинской.

Мужественный запах сигар, пряный аромат трубочного табака, наводящий на мысль об изысканной роскоши, неизменно выманивали меня из гостиной на веранду, хотя, в общем-то, я предпочитал гостиную: из-за сестер Конклин, по очереди игравших на нашем расстроенном пианино — бойко, весело, без всякого жеманства. В их репертуаре был среди прочего «Индийский любовный клич», а еще военная баллада восемнадцатого года — ребенок взывает с мольбой к забравшемуся в дом вору: «Не бери ты папиной медали, ведь ему ее за храбрость дали». Аннабел пела, аккомпанируя себе; она была старшей из сестер и самой красивой; впрочем, сказать, кто из них красивее, было трудно — похожи они были, словно близнецы, только роста разного. При виде сестер Конклин на ум приходила мысль о яблоках — упругих и ароматных, сладких, но чуточку терпких, как сидр; волосы их, заплетенные в косы, были с черным отливом, словно лоснящийся круп ухоженного вороного скакуна, а когда они улыбались, брови, нос, губы у них как-то забавно подпрыгивали, и это прибавляло к их чарам еще и прелесть юмора. Но всего симпатичней была некоторая их полнота — «приятная полнота», вот это будет точное выражение.

Слушая, как Аннабел поет и аккомпанирует себе на пианино, я почувствовал, что влюбляюсь в нее, и вот тут-то вдруг ощутил присутствие Одда Гендерсона. Именно ощутил: еще не видя его, я понял, что он здесь, — так, скажем,стораживается бывалый лесовик, чужая опасность: встречу с гремучей змеей или рысью.

Я обернулся — и вот он, собственной персоной: стоит у входа в гостиную, одна нога в комнате, другая за порогом. Остальные, должно быть, видели в нем всего-навсего

долговязого, словно жердь, двенадцатилетнего паренька, грязнулю, постаравшегося праздника ради как-то справиться со своими непокорными патлами: он разделил их на косой ряд и причесал, влажные волосы еще сохраняли следы гребешка. Но мне он был страшен, словно джинн, нежданно-негаданно выпущенный из бутылки. Ну и дубина же я, как я мог думать, что он не придет! Любой дурак догадался бы, что он явится непременно — хотя бы из одной вредности: насладиться тем, что испортил мне долгожданный праздник.

Но пока что Одд меня не замечал: Аннабел, ее сильные гибкие пальцы, летающие над расшатанными клавишами, отвлекли его; он смотрел на нее не отрываясь — рот раскрыт, глаза вытаращены, словно набрел на нее нагую, когда она погружалась в прохладные воды нашей речки. Словно глазам его предстало зрелище, о котором он давно мечтал. Его уши, и без того красные, стали просто багровыми. Он был так заморожен, что мне удалось проскользнуть прямо у него за спиной. Пробежав через прихожую, я ворвался в кухню:

— Он здесь!

Подружка моя закончила все приготовления еще несколько часов тому назад (на сей раз ей в помощь были наняты две негритянки), но, невзирая на это, она с самого приезда гостей отсиживалась в кухне — под тем предлогом, что изгнанный из комнат Королек скучает там в одиночестве. Честно говоря, она боялась любого скопления людей, даже если это были только родственники; вот почему она редко ходила в церковь, хотя верила в Библию и ее героя. Она любила детей, с ними ей было легко, но к детям ее не причисляли, сама же она не причисляла себя к взрослым и на людях держалась как юная девушка-дичок. Но самая мысль о людном застолье радостно волновала ее; какая жалость, что она не могла участвовать в нем незримо, до чего ей было бы весело!

А сейчас руки у нее тряслись, у меня тоже. Обычно она ходила в ситцевых платьях, теннисных туфлях и донашивала свитеры дядюшки Б.; для торжественных случаев у нее подходящей одежды не было. Вот и сегодня она прямо-таки утонула в темно-синем креповом платье одной из своих дородных сестер — та надевала его на все похороны у нас в округе, какие я мог упомнить.

— Он здесь, — в третий раз сообщил я ей. — Одд Гендерсон.

— Почему же ты не с ним? — спросила она укоризненно. — Это невежливо, Дружок. Ведь он твой гость. Твое место — там, надо его со всеми перезнакомить, чтобы он не скучал.

— Я не могу. Не могу говорить с ним.

На ее коленях уютно устроился Королек, она почесывала у него за ушами, но тут встала и, сбросив Королька на пол, обнаружила, что на темно-синее платье налипла собачья шерсть.

— Дружок. Ты просто хочешь сказать, что никогда не говорил с этим мальчиком! — объявила она.

Неучтивость моя так на нее подействовала, что она одолела собственную робость и, взяв меня за руку, ввела в гостиную.

Впрочем, за Одда она волновалась зря. Чары Аннабел Конклин притягивали его к пианино. Весь сжавшись, он кое-как пристроился возле нее на вертящемся табурете и изучал ее восхитительный профиль; глаза у него были бессмысленные, как у китового чучела, которое я видел прошлым летом — тут у нас в городе побывал передвижной паноптикум («Настоящий Моби Дик» — гласила реклама, и за удовольствие лицезреть эти останки с нас содрали по пять центов, вот ведь свора мошенников!). А что до Аннабел, так та готова была флиртовать с кем угодно, все равно — ходило оно или ползало. Впрочем, нет, это несправедливо по отношению к ней; ведь по сути дела то было проявлением ее щедрости, жизнелюбия. И все-таки меня покорило, когда я увидел, как она заигрывает с этим живодером.

Подталкивая меня к пианино, подружка моя обратилась к Одду:

— Дружок и я, мы оба так рады, что ты смог прийти.

Манеры у Одда были как у козла: он даже не встал, не подал ей руки, лишь глянул на нее мельком, а в мою сторону и вовсе не посмотрел. Но подружка моя, хоть и была

обескуражена, сдаваться не собиралась:

— Может быть, Одд споет нам, — сказала она. — Он умеет, мне его мама говорила. Аннабел, голубушка, сыграй что-нибудь такое, что Одд знает.

Перечтя эти страницы, я убедился, что недостаточно живо описал уши Одда Гендерсона. Серьезное упущение, потому что были они такие — просто ахнешь. А уж теперь, когда Аннабел со столь лестной для него готовностью откликнулась на просьбу моей подружки, они запылали так, что при взгляде на них глазам становилось больно. Он что-то бормотал, голова у него моталась, как у висельника, но Аннабел без церемоний спросила:

— «Дано мне было свет узреть» знаешь?

Нет, этого он не знал. Она назвала другую песню, и тогда он расплылся в улыбке — да, мол, знаю; дураку и то было ясно, что эта его застенчивость сплошное кривляние.

Рассыпавшись смехом, Аннабел взяла звучный аккорд, и Одд запел не по годам взрослым голосом:

Скачет быстро птичка,
Синяя синичка,
Прыг-скок, прыг-скок.

Кадык на его вытянутой шее заходил ходуном; Аннабел заиграла еще веселей, еще быстрее; пронзительное кудахтанье женщин стихло — до них дошло, что исполняется музыкальный номер. У Одда получалось здорово, петь он умел, ничего не скажешь, и во мне поднялась такая зависть — ею можно было, словно током, казнить убийцу. Убийство и было у меня на уме. Сейчас я мог бы покончить с ним запросто — мне это было бы не труднее, чем прихлопнуть москита. Даже легче.

Я опять выскользнул из гостиной — этого не заметил никто, даже моя подружка, увлеченная пением Одда, — и подался в тайник. Так я называл место в доме, где прятался, когда у меня начинался приступ тоски или беспричинного веселья или же когда просто надо было что-то обдумать. Это был большой чулан, примыкавший к нашей единственной ванной; сама ванная, если не замечать обязательных в таком месте приспособлений, напоминала уютную гостиную; был тут диванчик на двоих с сиденьем из конского волоса, конторка, камин, на полу коврики, на стенах — репродукции: «Доктор пришел», «Сентябрьское утро», «Лебеди на пруду» и множество рекламных календарей.

В чулане были два оконца с цветными стеклами, выходившие в ванную; свет просачивался сквозь них розовыми, янтарными и зелеными ромбами. Некоторые стекляшки выцвели от времени или повыпадали, и, заглядывая в такую дырку, можно было видеть, кто зашел в ванную. Я просидел там совсем недолго, с грустью размышляя об успехах моего врага, как вдруг в думы мои ворвался звук шагов: миссис Мэри Тейлор-Уилрайт; она остановилась перед зеркалом, нарумянила морщинистые щеки, прошлась по лицу пуховкой и, внимательно обзрев свои достижения, провозгласила:

— Очень мило, Мэри. Пусть даже Мэри говорит себе это сама.

Известно, что женщины живут дольше мужчин; может быть, они просто тщеславнее и это их держит? Как бы то ни было, от слов миссис Уилрайт настроение у меня улучшилось, и после ее ухода, когда в комнатах весело зазвонил колокольчик, сзывая всех к обеду, я решил вылезти из своего убежища и получить от праздника полное удовольствие, а Одд Гендерсон — шут с ним.

Но тут вновь раздалися шаги. Появился он. Вид у него был совсем не такой угрюмый, как обычно. Идет и насвистывает. Форсит. Расстегнул штаны, с силой пустил струю, так что плеск раздался, а сам посвистывает, беспечный, будто сойка на поле с подсолнухами. Когда он уже выходил, внимание его привлекла стоявшая на конторке открытая коробка из-под сигар. В коробке этой моя подружка хранила вырезанные из газеты рецепты и прочую дребедень, а еще брошь-камею, когда-то подаренную ей отцом. Брошь эта была дорога ей не только как память; почему-то она вообразила, что вещица сама по себе — большая ценность, и всякий раз, как кто-нибудь из сестер или дядюшка Б. сильно обижал нас, она говорила:

— Ничего, Дружок, вот продадим мою камею и уедем от них. Сядем в автобус и

укатим в Новый Орлеан.

Что мы будем делать в Новом Орлеане, на что будем жить, когда кончатся вырученные за камео деньги, — над этим мы не задумывались; нам обоим жаль было бы расстаться с этой фантазией. Быть может, в глубине души каждый из нас понимал, что брошь — просто дешевая побрякушка, какие высылают почтой фирма «Сирс энд Роубак»; и все равно она была для нас талисманом, обладающим несомненной, хотя и не испробованной нами магической силой; амулетом, который сулит нам свободу, если когда-нибудь мы и впрямь решимся попытать счастья в сказочных краях. Поэтому подружка моя никогда не носила камео — из опасения, как бы не потерять или не попортить это сокровище.

И что же я вижу: Одд тянет к брошке свою поганую лапу, подбрасывает ее на ладони, опускает обратно в коробку и идет к дверям. Потом возвращается. Выхватывает камео и сует ее в карман. Меня словно обожгло. Первым моим побуждением было выскочить из чулана и броситься на него; думаю, в тот момент я положил бы его на обе лопатки. Но... Вы помните — в те дни, когда жизнь была много проще, авторы комиксов, желая показать, что их героя осенило, рисовали над челом Мэтта, или Джеффа, или еще там кого электрическую лампочку? Именно такое случилось и со мной: в мозгу моем вдруг вспыхнула лампа. Мысль была ошеломляющая и блестящая; меня даже в жар бросило, потом затрясло, а потом вдруг стал разбирать смех. Одд сам дал мне в руки совершеннейшее орудие мести, теперь уж я ему с лихвой отплачу за все репы...

В столовой буквой «Т» были расставлены длинные столы. Дядюшка Б. сидел на хозяйском месте, по правую руку от него — миссис Мэри Тейлор-Уилрайт, по левую — миссис Конклин. Одда посадили между двумя сестрами Конклин, одной из них была Аннабел, и от ее любезности он пребывал наверху блаженства. Подружка моя пристроилась в самом конце стола, среди малышей: послушать ее, так она выбрала это место, потому что оттуда ближе всего к кухне; но, разумеется, на самом деле ей просто хотелось там сидеть. Корольку как-то удалось выбраться из кухни, и теперь он, дрожа и виляя хвостом от восторга, бродил под столом, между двумя рядами ног, но никто не сердился — вероятно, все были заворожены видом соблазнительно подрумянившихся, еще не разрезанных индеек, упоительными ароматами, поднимавшимися над блюдами с окрой[*Окра (также бамия) травянистое растение, стручки которого применяются в кулинарии] и вареной кукурузой, над пирожками с луком и булочками со сладкой начинкой.

В другой раз у меня и самого бы слюнки потекли, но сейчас во рту пересохло и сердце бешено колотилось при мысли о полном отмщении. На какой-то миг, глядя на раскрасневшегося Одда, я почувствовал слабый укол жалости, но в общем совесть меня не грызла.

Дядюшка Б. стал читать молитву: он склонил голову, закрыл глаза и, сложив натруженные ладони, нараспев произнес:

— Вознесем хвалу Господу нашему, возблагодарим Его в сей День благодарения нынешнего многотрудного года за все дарованные нам плоды, за обилие яств на праздничном столе нашем. — Голос его, который нам доводилось слышать так редко, скрипел, словно разладившийся старый орган в заброшенной церкви. Аминь.

Но вот вновь придвинуты стулья, отшуршали разворачиваемые салфетки, и наконец водворилась тишина, которой я ждал.

— Среди нас есть вор, — выговорил я отдельно и внятно, потом отчеканил: Одд Гендерсон — вор. Он украл у мисс Соук камео.

Накрахмаленные салфетки поблескивали в застывших от неожиданности руках. Мужчины закашляли, сестры Конклин дружно ахнули всем квартетом, а Перк Макклауд-младший стал икать — такое бывает у малышей от удивления.

Раздался голос моей подружки, в нем звучали укор и боль:

— Дружок это не всерьез. Просто он хочет подразнить Одда.

— Нет, всерьез. Не веришь — сходи загляни в свою коробку. Камеи там нет. Она у Одда Гендерсона в кармане.

— У Дружка был сильный бронхит, — выговорила она еле слышно. — Не сердись на него, Одд. Он сам не понимает, что говорит.

Но я повторил:

— Ступай загляни в свою коробку. Я видел, как он брал камео,

Тут дядюшка Б. взял дело в свои руки; он впился в меня ледяным взглядом, не сулившим ничего доброго, и сказал, обращаясь к мисс Соук:

— Может, вправду сходишь? Все сразу и выяснится.

Редко бывало, чтобы подружка моя посмела послушаться брата; не посмела она и сейчас. Но ее мертвенная бледность, скорбно опущенные плечи говорили о том, чего стоит ей исполнить его поручение. Она отсутствовала всего минуту, но нам показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она возвратилась. Общая неприязнь, словно усеянная шипами лоза, росла и давала побеги с непостижимой быстротой, и жертвой, которую она оплела своими усиками, оказался не обвиняемый, а обвинитель. Я чувствовал — меня вот-вот вывернет; Одд же хранил невозмутимое спокойствие мертвеца.

Мисс Соук вернулась, сияя улыбкой.

— Как тебе не стыдно, Дружок, — сказала она с упреком и погрозила мне пальцем. — Так нас разыграть. Камея на том самом месте, где я ее оставила.

А дядюшка Б. объявил:

— Дружок, я хочу, чтобы ты извинился перед нашим гостем.

Одд Гендерсон поднялся:

— Нет, не надо. Он сказал правду. — И, вынув из кармана камео, положил ее на стол. — Мне бы сейчас напести чего-нибудь. Да только нечего. — Он шагнул было к двери, но обернулся: — А вы мировецкая женщина, мисс Соук. Надо же соврали, чтоб меня выгородить.

И с этим, черт его подери, решительно вышел за дверь.

И я тоже. Но только я не вышел, а выбежал. Я отпихнул свой стул с такой силой, что он упал. Грохот взбудоражил Королька, он выскочил из-под стола, зарычал и оскалил зубы. Когда я пробежал мимо мисс Соук, она попыталась остановить меня:

— Дружок!

Но я больше не желал их знать — ни Королька, ни ее. Этот пес на меня зарычал, а подружка моя приняла сторону Одда Гендерсона, соврала, чтобы спасти его шкуру, предала нашу дружбу, мою любовь; а я-то думал, такое невозможно.

Пониже дома расстилался Симпсонов луг; по-ноябрьски высокая трава блестела на солнце, ржаво-красная и золотая. На краю пастбища стояли серый амбар, загон для свиней, обнесенный загородкой птичник и коптильня. В эту самую коптильню я и забрался. Темнота ее хранила прохладу даже в самые жаркие летние дни. Пол там был грязный, сильно пахло пеплом цикория и креозотом; с балок рядами свисали окорока. Вообще-то я коптильню побаивался, но сейчас ее сумрак казался мне надежной защитой. Я бросился наземь, грудь у меня ходила ходуном, словно жабры выброшенной на песок рыбы; мне было плевать на то, что я гублю единственную свою приличную одежду, единственный костюм с длинными штанами, я метался по полу в грязном месиве из пепла, земли и свиного сала.

Мне было ясно одно: я должен покинуть этот дом, этот город нынче же ночью. Добраться до железной дороги. Вскочить на подножку товарняка и уехать в Калифорнию, в Голливуд. Там буду сам зарабатывать себе на хлеб — надраивать до блеска туфли Фреда Астера, Кларка Гейбла[*Известные актеры]. Ну, а вдруг вдруг я сам стану кинозвездой. А что, взять хоть Джекки Кугана. Вот когда они пожалеют. Сделаюсь богатым, знаменитым, они будут слать мне письма, а может, даже и телеграммы, но я не стану им отвечать.

И тут я вдруг придумал, как сделать, чтобы они пожалели еще больше. Дверь в сарайчик была приоткрыта, и в узкой, как лезвие ножа, полоске солнца видна была полка с пузырьками. Пыльные такие, на этикетках — череп и скрещенные кости. Вот хлебну из такого пузырька — тогда все они там, в столовой, вся эта жрущая и пьющая орава, узнают, почем фунт лиха. Ей-богу, хлебну — хотя бы для того, чтоб увидеть, как дядюшка Б. будет

корчиться от мук совести, когда меня найдут холодным и недвижимым на полу коптильни; услышать их вопли и скулеж Королька, когда мой гроб станут опускать в могильную яму.

Да, но вот в чем заковыка: я же этого ничего не увижу и не услышу — ведь я буду мертвый! А если нельзя насладиться, глядя, как убиваются и казнятся те, кто тебя хоронит, какой смысл умирать?

Видимо, дядюшка Б. запретил мисс Соук искать меня до тех пор, пока из-за стола не поднимется последний гость. Только под вечер услышал я ее голос, облетающий луг; она звала меня тихо, потерянно, словно голубка, горящая о своем голубке. Но я затаился в коптильне и не отвечал.

Обнаружил меня Королек; он обошел коптильню, обнюхал следы; найдя мой, пронзительно залаял, вбежал внутрь и, подобравшись ползком, лизнул мне руку, потом ухо и щеку: понимал, значит, что обошелся со мною дурно.

Тут дверь распахнулась, полоса света стала шире.

— Иди сюда, Дружок, — сказала моя подружка, и мне захотелось к ней подойти. Увидев меня, она рассмеялась: — Боже милостивый! Мальчик, тебя словно дегтем обмазали; теперь остается только вывалить тебя в перьях.

О моем загубленном костюме — ни слова. Королек трусцой выбежал из коптильни и принялся доносить коров на лугу; выйдя вслед за ним, мы уселись на пне.

— Я сберегла для тебя гусиную ножку, — она протянула мне пакет из воценой бумаги. — А от индейки — белое мясо, твое любимое.

Голод, притупившийся было от чувств более мучительных, вдруг прямо-таки ударил меня под ложечку. Я дочиста обглодал гусиную ножку, потом взялся за белое мясо — самый вкусный кусок индейки, вокруг грудки.

Пока я жевал, мисс Соук обняла меня за плечи.

— Я тебе что хочу сказать, Дружок. Худа злом не исправишь. Да, с его стороны нехорошо было взять камю. Но мы не знаем, почему он ее взял. Может, хотел поддержать и положить на место. Как бы то ни было, сделал он это непреднамеренно. Вот почему твой поступок куда хуже: у тебя был расчет, ты хотел его унижить. С умыслом. Слушай меня внимательно, Дружок: есть только один непростительный грех — умышленная жестокость. Все остальное можно простить. А такое — никак нельзя. Ты меня понял, Дружок?

Я понял, хоть и смутно, и время показало мне, что она была права. Но в ту минуту это дошло до меня главным образом потому, что месть моя не удалась стало быть, я действовал не так, как надо. Каким-то образом Одд Гендерсон оказался лучше, даже честнее меня — отчего? Почему?

— Ты меня понял, Дружок? Понял?

— Вроде бы да. Тяни, — сказал я, протягивая ей грудку индейки.

Мы стали тянуть в разные стороны, и, когда разорвали, мой кусок оказался больше, а это значило, что она должна исполнить любое мое желание. Она спросила, какое же это желание.

— Чтобы мы остались друзьями.

— Дурашка.

Она крепко меня обняла.

— Навечно?

— Ну, я не буду жить вечно, Дружок. И ты тоже. — Голос ее упал, как падает за край луга солнце, и на мгновенье умолк, потом стал наливаясь силой, как вновь нарождающееся солнце. — Впрочем, нет, все-таки вечно. Богу угодно, чтобы ты надолго меня пережил. И пока ты меня будешь помнить, мы всегда будем вместе...

С того дня Одд Гендерсон оставил меня в покое. Он стал воевать со своим однолеткой Макмилланом, по прозвищу Белка. А на следующий год наш директор исключил его из школы за неуспеваемость и плохое поведение, и на зиму он устроился работником на молочную ферму. В последний раз я увидел его незадолго перед тем, как он, голоснув на дороге, уехал в Мобил, нанялся там на торговое судно и сгинул. Было это за год до того, как

меня спихнули в военную школу мыкать горе, и за два года до смерти моей подружки. Стало быть, осенью тысяча девятьсот тридцать четвертого года.

Мисс Соук вызвала меня в сад. Она пересадила цветущий куст хризантем в цинковую лохань и собиралась с моей помощью втащить ее на веранду — там бы она выглядела очень красиво. Лохань была тяжеленная, как сто чертей, и как раз когда мы безуспешно сражались с нею, по улице проходил Одд Гендерсон. Он постоял у садовой калитки, потом распахнул ее и сказал:

— Разрешите помочь вам, мэм.

Жизнь на ферме пошла ему впрок: он потолстел, руки окрепли. Волосы из ярко-рыжих стали каштановыми. С легкостью поднял он здоровенную лохань и внес ее на веранду.

Подружка моя сказала:

— Очень вам обязана, сэр. Вот это по-соседски.

— Да чего там, — ответил он, по-прежнему не достаивая меня вниманием.

Мисс Соук срезала самые красивые хризантемы.

— Передай их маме, — сказала она, протягивая ему букет. — А еще — привет от меня.

— Спасибо, мэм, передам.

— Берегись, Одд! — крикнула она, когда он вышел на улицу. — Знаешь, ведь это — львы.

Но он был уже далеко и не услышал ее. Мы смотрели ему вслед до тех пор, пока он не скрылся за поворотом, так и не ведая, что несет — пылающие хризантемы, готовые огласить грозным рыком и ревом сгустившиеся зеленые сумерки.

Комментарии

1

Тербер Джеймс (1894–1961) — популярный американский новеллист и юморист.

2

Так себе (*фр.*).

3

Й. У. С. А. — аббревиатура Young Women Christian Association (Ассоциация молодых христианок) — благотворительная организация, предоставляющая бесплатное жилье и питание в учрежденных ею домах призрения.

4

Имеется в виду Бинг Кросби (1903–1977) — популярный американский киноактер и певец.

5

Ничего (*ит.*).

6

Онгон — жрец в религии вуду, родственной языческим африканским культам;

распространена преимущественно среди черного населения стран Карибского бассейна.

7

Холодные закуски, подаваемые с пивом и водкой *(норвеж.)*

